

Робер Парижской богоматери

Виктор
ГЮГО

*Париж
который мы
не увидим*

КОЛЛЕКЦИОННОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ

Коллекционное иллюстрированное издание

Виктор Мари Гюго

**Собор Парижской
Богородицы. Париж (сборник)**

«Алисторус»

1831, 1867

УДК 821.133.1

ББК 84(0)5

Гюго В.

Собор Парижской Богоматери. Париж (сборник) / В. Гюго — «Алисторус», 1831, 1867 — (Коллекционное иллюстрированное издание)

ISBN 978-5-907120-66-2

16 марта 1831 г. увидел свет роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». Писатель отчаянно не хотел заканчивать рукопись. Июльская революция, происходившая прямо за окном автора в квартире на площади Вогезов, сильно отвлекала его. «Он закрыл на ключ свою комнату, чтобы не поддаваться искушению выйти на улицу, и вошёл в свой роман, как в тюрьму...», — вспоминала его жена. Читатели, знавшие об истории уличной танцовщицы цыганки Эсмеральды, влюбленного в нее Квазимодо, звонаря собора Нотр-Дам, священника Фролло и капитана Феба де Шатопера, хотели видеть тот причудливый средневековый Париж, символом которого был Собор Парижской Богоматери. Но этого города больше не было. Собор вот уже много лет пребывал в запустении. Лишь спустя несколько лет после выхода книги Квазимодо все же спас Собор и правительство постановило начать реставрацию главного символа средневекового Парижа. В формате a4-pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.133.1

ББК 84(0)5

ISBN 978-5-907120-66-2

© Гюго В., 1831, 1867
© Алисторус, 1831, 1867

Содержание

Жизнь Виктора Гюго	7
Введение	7
Глава I	10
Глава II	17
Глава III	24
Глава IV	35
Глава V	43
Предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»	52
Собор Парижской Богоматери	54
Предисловие автора к восьмому изданию	54
Книга первая	56
I. Большой зал	57
II. Пьер Гренгуар	66
III. Кардинал	72
IV. Мэтр Жак Коппеноль	77
V. Квазимодо	83
VI. Эсмеральда	87
Книга вторая	90
I. Сцилла и Харибда	90
II. Гревская площадь	93
III. Besos para golpes[27]	95
IV. Неудобства, которым подвергаешься, преследуя вечером хорошенькую женщину	101
V. Продолжение неудач	104
VI. Разбитая кружка	106
Конец ознакомительного фрагмента.	118

Виктор Гюго
Собор Парижской Богоматери

© ООО «Агентство Алгоритм», 2019

Жизнь Виктора Гюго



Введение

Виктор Гюго умер в Париже 22 мая 1885 года, в час с половиной пополудни.

Всю предыдущую ночь, несмотря на дурную погоду, многочисленная толпа стояла перед его домом, ожидая сведений о больном, положение которого за последние дни волновало всю Францию. Время от времени кто-либо из домашних выходил на улицу, чтобы передать толпе ожидаемое известие, и оно тотчас разносилось по всему городу, несмотря на поздний час и не

перестававший проливной дождь. Когда тысячам людей, окружавшим дом, сказали, что великого поэта и гражданина, великого «сторонника всепрощения» не стало, – послышались громкие рыдания. Печальная весть разнеслась с быстротой молнии, и чуть не весь Париж столпился вблизи дома Виктора Гюго. На улицу вынесли два стола с книгами, куда каждый мог вписывать свое имя, – тут же поставили корзины для визитных карточек. Посетители нескончаемой вереницей направились в дом с намерением выразить свое сочувствие домашним; рядом с представителями прессы здесь были и правительственные лица, и простые рабочие, и светские люди, и члены муниципального совета, и художники...

Между тем в комнате умершего известный скульптор Далу делал гипсовый слепок с лица поэта, фотограф Надар ожидал своей очереди для снятия фотографии, живописец Бонна делал эскиз для портрета и Леон Глэз рисовал карандашом профиль покойного. В это же время мировой судья XV городского округа накладывал печати на все вещи, находившиеся в доме, как того требуют законы о наследстве во Франции.

Семейство Виктора Гюго, состоявшее из внуков его, Жанны и Жоржа Гюго, их матери, г-жи Локруа (во втором браке), и ее мужа, г-на Локруа, было погружено в глубочайшее горе. У покойного была также дочь, но она уже лет тридцать не жила с семьей, находясь в доме умалишенных.

Виктор Гюго лежал на кровати из черного дерева; смерть не изменила благородного лица поэта – казалось, что он только уснул. Руки его покоились на одеяле. Постель, так же как и вся комната и весь дом, была усыпана цветами, которые в несметном количестве приносились парижанами. Похороны решено было сделать за счет нации, так как вся Франция глубоко чувствовала постигшую ее потерю. Палата депутатов вотировала для этой цели кредит в 20 тысяч франков. На основании законного постановления день похорон был провозглашен днем народного траура: все места общественных служб были закрыты, так же как и все учебные заведения. Когда в палате депутатов и в сенате узнали о смерти Виктора Гюго, то в знак траура заседание было прекращено; то же сделала Академия во всех своих пяти отделениях одновременно. Такой чести еще никто не удостоивался во Франции.

Набальзамированное тело покойного было на сутки выставлено среди весьма торжественной обстановки под Триумфальной аркой на Елисейских полях, чтобы дать всем желающим возможность поклониться ему.

Вот письмо, написанное президентом республики депутату Локруа:

«Любезный г-н Локруа! Прошу Вас, так же как г-жу Локруа и всех членов семейства Виктора Гюго, принять выражение моего живейшего участия. Если что-либо может смягчить Ваше горе, то это единодушное сожаление всей Франции и всего цивилизованного мира, это бессмертие гения, который не перестанет парить над теми, кто был ему близок. Верьте, прошу Вас, любезный г-н Локруа, моим чувствам дружеской преданности.

Жюль Гриви».

Муниципальный совет, изыскивая средства воздать наиторжественнейшие почести человеку, бывшему одновременно французским Шекспиром, Ювеналом и Вергилием, выразил желание, чтобы снова вступил в законную силу декрет Учредительного собрания от 2 апреля 1791 года или, во всяком случае, первые два пункта этого декрета, гласящие:

«1) Новое здание, построенное во имя Св. Женевьевы (Пантеон), предназначается для принятия бранных останков великих людей эпохи французской свободы.

2) Законодательный Корпус один будет иметь право решать, кому должна быть оказана эта почать».

Министерство, поговорив об этом, не решалось сделать подобного предложения, боясь протеста со стороны духовенства. Тем не менее предложение было внесено в палату Анатодем

де ла Форжем, и декрет, подписанный президентом и министрами, появился в официальном журнале 28 мая. И действительно: у Англии есть Вестминстер, где похоронены Шекспир, Байрон и Ливингстон; у Италии есть Санта-Кроче, где почивает Микеланджело, есть и грандиозный храм Агриппы, где покоятся останки Рафаэля и Каррачи, – теперь и Франция снова вернула подобное же назначение своему Пантеону.

Глава I

Родословная Гюго. – Семья Гюго. – Рождение поэта. – Первые его воспоминания. – Домашнее воспитание В. Гюго. – Путешествие в Испанию. – Возвращение в Париж. – Дружба с Адель Фуше. – Вступление союзной армии во Францию. – Падение империи. – Разлад в семье Гюго. – Жизнь и воспитание В. Гюго в пансионе Декотт. – Первые литературные попытки.

Во французском гербовнике, составленном Гозье в прошлом столетии, помещена родословная фамилии Гюго. Она происходит от Жана Гюго, капитана в войсках Рене II, герцога Лотарингского. Сын Жана, Жорж Гюго, получил 14 апреля 1535 года потомственные дворянские грамоты от кардинала Иоанна Лотарингского. От Жоржа Гюго, в седьмом колене, рожден был отец поэта, Жозеф-Леопольд-Сигисберт Гюго, имевший право на графский титул, как все генералы империи. Людовик XVIII впоследствии утвердил его в маршальском звании. Титула графа он сам не хотел носить. Некоторые из лиц, занимавшихся историческими исследованиями родословных французского дворянства, оспаривали, впрочем, происхождение Виктора Гюго от Жана Гюго, указывая на то, что дед поэта был простым рабочим. В числе предков и родственников Виктора Гюго следует упомянуть о Шарле-Луи Гюго, умершем в 1739 году. Будучи доктором и профессором богословия, он устроил типографию в своем премонстранском монастыре и под конец жизни получил звание епископа Птолемаидского. Мать поэта была дочерью богатого нантского арматора. Ее строго католическая семья отличалась преданностью Бурбонам. Граф Константин-Франсуа де Шассебеф, под псевдонимом «Вольней» написавший «Развалины» («Les ruines»), был двоюродным братом г-жи Гюго.

Отец поэта, Леопольд Гюго, поступил на службу кадетом в 1788 году, будучи четырнадцати лет от роду. В семье было семь братьев. Пятеро было убито в начале войн, последовавших за Великой французской революцией; шестой, «дядя Луи», дослужился до чина пехотного майора. Отец поэта получил звание генерала. Он воевал в Вандее; в 1795 году его отряд разбил и взял в плен Шаретта. В это время Леопольд Гюго познакомился со своей будущей женой. Свадьбу отпраздновали в Париже. Виктор родился 26 февраля 1802 года, после того как семья переселилась в Безансон. Отец не особенно радостно встретил его появление на свет – ему хотелось иметь дочь, так как, помимо Виктора, у него уже было два сына. Вот что пишет о рождении поэта «один из свидетелей его жизни»:

«Я много раз слышал рассказ о том, как родился Виктор Гюго. Он был, по выражению окружающих, „не длиннее столового ножа“. Когда его спеленали и положили на кресло, то он занял так мало места, что рядом с ним могло бы поместиться еще с полдюжины таких же крошек. Позвали его братьев взглянуть на него. Он был так жалок и некрасив и так мало походил на человеческое существо, что полуторагодовалый толстяк Эжен, едва начинавший говорить, вскрикнул увидев его: „Ай, зверюшка, зверюшка!“»

Несмотря на малоутешительные предсказания врача, «зверюшка» поднялся на ноги и вырос, хотя был сначала очень слабого здоровья. Ему не было еще и года, когда генерала Гюго перевели на остров Эльбу; здесь будущий поэт начал лепетать первые слова свои на итальянском языке. В течение зимы 1805 года генерал Гюго последовал за Жозефом Бонапартом в Неаполь, а семью отослал в Париж. К дому, где она поселилась, относятся первые сознательные воспоминания Виктора Гюго. Он помнит, что во дворе была коза и колодец под ивой, – здесь он часто играл. Живя в этом доме, он ходил в школу на улицу Монблан. Особенно вре-

залось ему в память, как он исполнял там роль «ребенка» в пьесе под заглавием «Женевьева Брабантская», где участвовала также дочь его учителя, мадмуазель Роза.

Вскоре отец его предпринял экспедицию против знаменитого калабрийского «Фра Дьяволо», окончившуюся поимкой этого легендарного разбойника, перешедшего впоследствии в область оперных либретто. Затем генерала Гюго назначили командиром полка «Рояль-Коре» и губернатором Авеллино. Он уже два года находился в разлуке со своими домашними и тотчас призвал их к себе. Но только-только семья успела устроиться на новом месте, как Жозеф Бонапарт перешел в Испанию, и генерал Гюго должен был последовать за ним. Мать и дети вернулись в Париж и поселились здесь в Фейльянтинском переулке.

Дом, где они жили, остался навсегда в памяти Виктора Гюго. Обширная квартира семьи была на первом этаже, в глубине двора, отделенного от улицы красивой чугунной решеткой; из большой и очень высокой гостиной балкон вел в сад, полный цветов, любимых г-жой Гюго. Налево к саду примыкал большой пустырь, где были глубокие ямы, кучи мусора и высохший бассейн, на дне которого маленький Виктор устраивал западни для тритонов.

Вот как поэт в 1875 году описывает свое жилище и жизнь семьи в нем:

«В начале этого столетия маленький мальчик жил в большом уединенном доме, окруженном обширным садом, среди одного из самых пустынных кварталов Парижа. Этот дом до революции назывался Фейльянтинским монастырем. Ребенок жил там с матерью, двумя братьями и старым священником, дрожавшим при воспоминании о девяносто третьем годе; это был почтенный старец, некогда подвергавшийся преследованиям и теперь снисходительный; он учил детей – много по-латыни, немного по-гречески – и ничего не говорил им об истории. В глубине сада росли очень высокие деревья, среди них пряталась старинная, полуразрушенная часовня. Детям было запрещено ходить так далеко. В настоящее время эти деревья, эта часовня и этот дом исчезли. Улучшения, свирепствовавшие в Люксембургском саду, дошли до Валь-де-Граса и уничтожили этот скромный оазис – там проходит теперь большая, довольно бесполезная улица. От Фейльянтинского монастыря осталось немножко травы да часть стены с обвалившейся штукатуркой, еще виднеющаяся между двумя новыми постройками... На все это стоит смотреть только глубоким взором воспоминаний. В январе 1871 года прусская бомба упала в этот уголок, продолжая улучшения, и г-н Бисмарк окончил то, что было начато Гаусманном.

В этом доме росли во время Первой империи три маленьких брата. Они играли и трудились вместе, начиная жить, не зная будущности, наслаждаясь весной жизни и природы, полные внимания к книгам, к деревьям, к облакам, прислушиваясь к щебетливым хорам птиц, под наблюдением нежной материнской улыбки. Бог да благословит тебя, матушка!

На стенах сада, среди полусгнившего и обвалившегося шпалерника, виднелись ниши для статуй Мадонны, остатки крестов и кое-где надпись: „Национальное имущество“.

...Этот дом в настоящее время существует только как дорогое и священное воспоминание младшего из братьев... и живет в его душе, как нечто прекрасно-туманное и безлюдно-молчаливое. Там, среди роз, при блеске солнечных лучей, совершался в ребенке таинственный рост духа. Ничто не могло быть безмолвнее этой высокой, увитой цветами постройки, которая была монастырем когда-то, уединением – теперь и убежищем – всегда. Шум империи, однако, достигал и сюда. По временам в этих обширных монастырских покоях, среди этих развалин, под этими сводами, в промежутке между двумя войнами, отголоски которых долетели и сюда, мальчик видел возвращение из армии и отъезд в армию молодого генерала-отца и молодого полковника-дяди; милая ему, полная движения и веселого шума жизнь, вносимая в дом отцом и дядей, на минуту словно ослепляла его; потом раздавался призыв военных труб, султаны и сабли исчезали, и покой и безмолвие возвращались в монастырские развалины, где тихо подготавливалась новая заря.

Так, вдумываясь в то, что он видел, жил шестьдесят лет тому назад мальчик, и этот мальчик был я».

Г-жа Гюго вела очень уединенный образ жизни и вся отдалась воспитанию своих детей, которые обожали ее и беспрекословно ей повиновались. В саду было много фруктовых деревьев, но жильцы не имели права брать плоды.

– А те, что падают? – спросил однажды по этому поводу маленький Виктор.

– Вы их оставите на земле.

– А те, что гниют?

– Пускай гниют.

И плоды продолжали гнить на земле.

Дети в то же время прилежно учились. Старший, Абель, был в коллегии, Эжен и Виктор занимались под руководством добрых и простых людей, супругов Ларивьер. Виктор делал быстрые успехи во всем: по прошествии первого полугодия ученья он писал почти без ошибок под диктовку. Ученье шло вперемежку с играми, борьбой и гимнастикой. Ум работал, и тело крепло. Ларивьеры стремились развивать как мыслительные способности, так и здоровье своих учеников.

Виктору Гюго с самого детства приходилось непосредственно знакомиться не только с прекрасными, но и с тяжелыми сторонами жизни. Самым потрясающим впечатлением, испытанным им в течение этого, вообще мирного периода его существования, был арест и казнь его крестного отца, генерала Лагори. Его Виктор Гюго никогда не мог забыть. Вот что он сам говорит об этом:

«Виктор Фанно де Лагори был бретонский дворянин, примкнувший к республике. Он находился в дружеских отношениях с Моро, также бретонцем. В Вандее Лагори познакомился с моим отцом, бывшим моложе его на двадцать пять лет. Позднее они подружились, когда служили в Рейнской армии; между ними возникли и упрочились те братские чувства, при которых войны жертвуют друг за друга жизнью.

В 1801 году Лагори был замешан в заговоре Моро против Бонапарта; голову его оценили; он не имел пристанища; мой отец принял его в свой дом; старая фейльянтинская часовня годилась на то, чтобы служить убежищем этой второй развалине – побежденному. Лагори отнесся с той же простотой к услуге, оказанной ему моим отцом, с какой и сам, при случае, оказал бы ему подобную, – и стал жить у нас, скрываясь в тени развалин и деревьев. Отец мой и мать одни знали, что он там.

Появление его очень удивило нас, детей. Что касается старика-священника, то он в своей жизни подвергался стольким преследованиям, что разучился удивляться чему бы то ни было. Тот, кто скрывался, был для этого добряка просто человеком, знавшим, в какое время живет; скрываться – значило понимать.

Мать велела нам молчать, а дети молчать умеют. С этого дня незнакомец перестал прятаться от домашних. К чему могла служить таинственность, когда он уже раз показался. Он обедал с нами, гулял в саду, иногда работал там вместе с садовником; он давал нам разные советы, и его уроки прибавились к урокам священника... Я не знал его имени. Матушка говорила ему „генерал“, я звал его „крестным“.

Он жил в глубине сада, в развалине, не обращая внимания ни на дождь, ни на снег, которые зимой попадали к нему сквозь лишенные стекол окна; он в часовне продолжал свою бивачную жизнь. Позади престола помещалась его походная кровать, в уголке лежали пистолеты и Тацит, которого он меня заставлял переводить...»

В 1811 году Лагори был арестован и посажен в тюрьму.

Однажды, в октябре 1812 года, г-жа Гюго, проходя с Виктором мимо церкви Св. Якова, показала сыну большую белую афишу, прибитую к одной из колонн портика. «Прохожие, – говорит Виктор Гюго, – как-то боком смотрели на эту афишу, точно со страхом, и, мельком взглянув на нее, ускорили шаги».

Мать остановилась и сказала ребенку: «Читай!»

Он прочел следующее: «Французская империя. По приговору первого военного суда на Гренельской равнине были расстреляны за преступный заговор против империи и императора три экс-генерала: Малэ, Гвидаль и Лагори».

Понятно, что на мягкую душу ребенка эта экзекуция произвела глубокое и горькое впечатление.

К этим годам жизни Виктора Гюго относится и много приятных воспоминаний. К ним принадлежит все, что касается возвращения дяди Луи. Он приехал из Испании, чтобы забрать с собой и перевезти туда весь большой и малый люд, принадлежащий к семье. Тотчас все принялись учиться по-испански и уехали, в 1811 году, в Мадрид, губернатором которого был сделан генерал Гюго, после того как победил партизана Хуана Мартина, прозванного Эмпесинадо.

Путешествие, полное всевозможных приключений, всяких страхов и неожиданностей, попеременно с веселыми, приятными и вечно новыми впечатлениями, совершалось медленно, с долгими остановками и неизгладимо запечатлелось в воображении Виктора Гюго. Рассказ его о нем есть своего рода комментарий к известной части его сочинений, начиная с короткого пребывания в Эрнани до поселения во дворце Массерано.

Из этого дворца, полного блеска и величия, ребенок переходит в мрачные дворы и темные коридоры дворянской коллегии. Здесь мальчик воспитывается до 1812 года, когда французов принудили уйти из Испании.

Возвращение в Париж было печальным. Семья собралась опять в Фейльянтинском переулке, куда верный Ларивьер снова начал являться, чтобы давать уроки детям. Много произошло и здесь трагического и печального в семье Гюго, но не было недостатка и в радостных днях. Характеры детей были пытливые и веселые. Мальчики быстро развивались физически и нравственно и находились под сильным влиянием своей матери, всецело проникнутой монархическими принципами.



Виктор Мари Гюго (1802–1885). Французский писатель (поэт, прозаик и драматург), одна из главных фигур французского романтизма. Член Французской академии (1841).

«Гораздо точнее можно судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям»
(Виктор Гюго)

В декабре 1813 года семья Гюго переехала на улицу Шерш-Миди, в соседство со зданием Военного суда, где жил Фуше, хороший знакомый генерала Гюго. Здесь Виктор подружился со своей будущей женой Адель Фуше. Они играли и гуляли вместе, и Виктор в ее присутствии всегда краснел и трепетал. Впоследствии он воспел ее под именем испанки Пепиты. В сущности, он, однако, вовсе не был особенно скромн и еще менее сентиментален. Любимыми играми, как его, так и Эжена с их товарищами, мальчиками Фуше, было устраивать баррикады, лазать по крышам и бороться, что приводило г-жу Гюго в ужас, так как дело никогда не обходилось без шума и крика, а иногда случались даже драки.

В то время генерал Гюго вел отступающее французское войско из Испании, жители которой героически отстаивали свою независимость. По возвращении во Францию ему было поручено защищать Тионвиль от наступающих гессенцев. Он бился до последних сил, но под конец был принужден сдать крепость союзной армии, то есть Бурбонам. Защита Тионвиля против немцев послужила поводом к обвинению генерала Гюго в измене законным государям Франции, как титуловали себя Бурбоны. Дети знали обо всех событиях этого тяжелого и смутного времени. Мать позволила Виктору абонироваться в библиотеке, где он поглощал газетные статьи, стихотворения, романы, ученые трактаты – одним словом, все, что ему попадалось под руку.

Между тем со вступлением во Францию союзной армии возвратились и Бурбоны, чтобы занять трон своих предков. Как взрослые, так и дети с лихорадочным вниманием следили за движениями войск. Семья Гюго была знакома с генералом Люкоттом, составившим замечательную коллекцию военных планов. Рассматривая их, Виктор прекрасно выучился географии.

Империя пала. Г-жа Гюго не могла скрыть своей радости. Виктор тоже с восторгом носил лилию в петлице. Нужно прибавить, что при всем этом он невольно восхищался Бонапартом как великим полководцем, и ему отчасти казалось обидным, что Франция, имевшая императора, должна будет теперь присягать только королю.

Политические события того времени сильно волновали мальчика еще и в другом смысле. В семейных отношениях супругов Гюго произошел полный разлад, в основе которого лежало различие политических убеждений: отец и мать поэта расстались.

Когда Наполеон вернулся с острова Эльбы, генерал Гюго, потерявший было свое положение, снова вошел в силу и настоял на помещении своих, живших при матери, сыновей полными пансионерами в учебное заведение Кордье и Декотт. Эжену в это время было пятнадцать, а Виктору – тринадцать лет. С печалью в сердце расстались дети с родительским домом; но нельзя сказать, чтобы жизнь их в пансионе была лишена всяких радостей. Оба брата вскоре сделались настоящими царьками среди своих товарищей, которые разделились на два лагеря. Одни, повиновавшиеся Эжену, называли себя «телятами»; другие, признававшие главенство Виктора, носили имя «собак». Виктор оказался страшным деспотом: он даже бил товарищей, когда они его не слушались. Музыкант и литературный критик Леон Гатей, умерший в 1877 году, талантливый и честный человек, был в то время в пансионе довольно вялым экстерном. Виктор Гюго ежедневно поручал ему покупать на два су итальянского сыра с непременным условием, чтобы кусок состоял наполовину из мякоти и наполовину из корки. Когда Леон возвращался с пармезаном, тиран осматривал покупку строгим взором и, если корки было мало, то на плечи и спину посланца градом сыпались кулачные удары, если корки было слишком много, то Виктор начинал лягаться и колотил его кулаками по ногам.

– Помните вы это доброе старое время? – говорил через пятьдесят лет Гатей поэту. – У меня до сих пор ломит ноги.

– Но ведь вы были на целую голову выше меня, зачем же вы не дали мне сдачи?

– Во-первых, я чувствовал свою виновность, а во-вторых, не смел. Вы говорили: «Я больше не буду давать тебе поручений»... и мне так хотелось плакать от этой угрозы, что я уже не думал о мщении.

Генерал Гюго намеревался отдать детей в политехническую школу. Помимо пансионских уроков, они слушали еще курсы философии, физики и математики в коллегии Луи-де-Гран. Способности их по последнему предмету не ускользнули от внимания преподавателей, и им на большом университетском конкурсе были выданы награды. Нужно, однако, добавить, что Виктор, решая задачи, мало придерживался общеизвестных классических способов; он, так сказать, предугадывал результаты и совершенно новым, своеобразным путем доходил до них – одним словом, он был «романтическим» математиком.

Эта дерзость раздражала профессоров точных наук, что, впрочем, мало заботило мальчика: *x* и *y* имели для него гораздо меньше обаяния, чем поэзия. Стихи Виктор начал писать с тринадцати лет. Темой первых из них служат Роланд и рыцарство. Мальчик тогда еще не учился стихосложению, но инстинктом угадывал его. В то время, впрочем, все писали стихи: из лиц, окружавших Виктора Гюго, этим занимался и Ларивьер, и директор пансиона Декотт, и Эжен Гюго, и целые десятки знакомых Виктору школьников. В пансионе писали не только оды, но и драмы, которые разыгрывались в старшем классе. Сдвигали столы – это изображало сцену. Под столами была уборная, там же актеры на корточках ожидали минуты своего выхода на сцену. Виктор Гюго, подобно Мольеру, исполнял в своих пьесах главные роли. Костюмы устраивались из картона, цветной бумаги и всего, что бог пошлет. По ночам мальчик для собственного удовольствия переводил на французский язык оды Горация и отрывки из Вергилия, задаваемые ему в классе. Однажды, во время прогулки в парижском предместье Отейль, между «собаками» и «телятами» произошло сильное сражение, и Виктору так ушибли ногу, что врачи заговорили было об ампутации. Мальчик отказался назвать «солдата», ранившего камнем «неприятельского генерала». К счастью, однако, оказалось, что резать ногу нет необходимости, – раненый отделался тем, что несколько недель пролежал в постели, занимаясь сочинениями стихов. От этого времени мать поэта сохранила около десятка тетрадей, помеченных 1815 и 1816 годами. На последней странице последней тетради автор написал: «Вздор, который я делал до моего рождения». Под этим нарисовано яйцо, внутри его находится что-то похожее на птенца. Вообще, молодой поэт не всегда был доволен своими произведениями. Так, к одному стихотворению сделано следующее примечание: «Порядочный человек может читать все, что не зачеркнуто»... при этом зачеркнуто все. Несколькими страницами далее находится такая заметка: «Заглавие пусть поставит тот, кто сможет; что до меня, то я еще стараюсь догадаться, какую тему развивал». Тем не менее во многих из этих детских опытов мы уже встречаем многообещающие задатки. В общем, молодой поэт был всецело под влиянием классиков и вполне предан Бурбонам. Ему говорили, что они поборники свободы, и он любил их. Убеждения его в это время представляют эхо монархических симпатий его матери и взглядов его первых воспитателей. Ему сказали, что Наполеон – деспот; он стал ненавидеть его, и в тринадцать лет восклицал, обращаясь к тирану:

Трепещи! Наступило время, когда твою ненавистную славу
Низвергнет победоносная десница судьбы...

Глава II

Литературная деятельность молодого поэта с 1815 до 1818 года. – Материальные лишения, которые он переносит. – Королевская пенсия. – Женитьба поэта. – Переход В. Гюго к бонапартизму. – В. Гюго как драматический писатель. – Борьба с классицизмом и цензурой.

С 1815 до 1818 года, то есть с тринадцати до шестнадцати лет, Виктор Гюго выказал необыкновенную литературную плодовитость. Он писал оды, сатиры, послания, поэмы, элегии, идиллии, подражания Оссиану, переводы из Вергилия, Горация, Авзония, Марциала, романы, басни, сказки, эпиграммы, мадригалы, логогрифы, акростихи, шарады, загадки, экспромты!.. Есть относящаяся к тому времени комическая опера; есть трагедия, написанная по поводу возвращения Людовика XVIII; другая, с египетскими именами, «Иртамена», навеяна чтением драматических произведений Вольтера.

Первый успех, которому молодой поэт порадовался вне кружка близких, относится к конкурсу на премию Академии в 1817 году. Была задана следующая тема: «Счастье, доставляемое умственными занятиями во всех положениях жизни».

Решившись принять участие в конкурсе, юноша испытывал только одно затруднение, состоявшее не в том, как написать поэму, а как отнести и подать ее. Он в то время был еще в пансионе. Академия удостоила его работу почетного отзыва; ему дали бы и премию, но судьи приняли за насмешку строки, где поэт упоминает о своем пятнадцатилетнем возрасте. Рейнуар, несменяемый секретарь Академии, даже заявил г-же Гюго, что он с удовольствием готов познакомиться с молодым поэтом, «если тот не солгал». Г-жа Гюго возмутилась при мысли, что кто-нибудь может считать ее сына лгуном, и при помощи метрического свидетельства доказала Академии возраст Виктора. Что касается его самого, то он узнал о своем успехе во время игры в кегли с товарищами; он так был занят игрой, что не бросил ее и едва выслушал сообщение брата, рассказавшего ему о том, что поэма его принята и заслужила награду.

В следующем году он послал два стихотворения на конкурс, известный под названием «Jeux Floraux» («Игры в честь богини Флоры»), и получил две премии. Наконец, он написал оду на смерть герцога Беррийского. Прочитав ее, Шатобриан выразил желание увидеть нарождающегося поэта и назвал его «enfant sublime» (дитя с возвышенной душой). Виктор Гюго, познакомившись с ним, впоследствии, однако, более уважал, нежели любил старого легитимиста.

К этому же времени относится большое горе, испытанное молодым поэтом: мать его скончалась. Отец, с которым он был не особенно близок, не одобрял литературной карьеры из-за неопределенности ее результатов и хотел бы для своих сыновей «более положительной» профессии. Виктор, однако, оставался тверд в своем намерении сделаться писателем. Тогда генерал Гюго лишил его всякой денежной поддержки, думая этим путем заставить его покориться родительской воле. Но юноша более мужественно, нежели когда-либо, без средств, без нравственной поддержки со стороны семьи, продолжал неустанно работать в одном и том же направлении. Он впоследствии любил рассказывать о своих тогдашних лишениях и о том, как он одной котлетой питался три дня. У него в то время были две цели: достичь при помощи литературы положения и известности и жениться на Адель Фуше, которая была его невестой. Он зарабатывал пока только семьсот франков в год; этого было достаточно для одного человека, при самом скромном образе жизни, но никак не для семьи, как бы требования ее ни были малы. В «Отверженных» («Les Misérables»), говоря о бюджете Мариуса, он описывает свое собственное положение. Но вот, наконец, в печати появилась первая его книга «Оды и различные стихотворения». Совершенно неожиданно Виктор Гюго получил за нее ежегодную пенсию в 2 тысячи франков от короля. Поэт и его знакомые приписывали щедрость Людовика

XVIII впечатлению, произведенному на него книгой, и тому, что в некоторых стихотворениях поэт высказывает глубокое уважение к своему монарху; это было справедливо только отчасти, и главную роль здесь играло другое обстоятельство, о котором Виктор Гюго узнал только впоследствии. В 1822 году был открыт Сомюрский заговор. В числе заговорщиков находился молодой человек по имени Делон, сын офицера, служившего некогда под командой генерала Гюго. Молодой Делон очень опекал Виктора в его раннем детстве, играл с ним и приобрел его полное расположение. Впоследствии семьи Гюго и Делон разошлись из-за того, что Делон-отец принял на себя обязанность докладчика на процессе генерала Лагори. Тем не менее, когда Виктор Гюго узнал об аресте, грозившем Делону, он тотчас написал его матери, предлагая ее сыну убежище в своем доме; у такого преданного, как он, роялиста, прибавлял молодой поэт, никто не вздумает искать государственного преступника. Письмо было распечатано в «черном кабинете» и доставлено Людовику XVIII, который, прочитав его, с улыбкой произнес:

– У этого молодого человека очень большой талант и доброе сердце; он здесь поступает вполне честно; я дарю ему первую свободную королевскую пенсию.

Несмотря на все свое великодушие, Людовик XVIII тем не менее приказал запечатать письмо и отправить его по назначению. И если бы Делон не догадался бежать за границу, а воспользовался бы предложением Виктора Гюго, то, без сомнения, был бы арестован и казнен. Спустя долгое время Виктор Гюго узнал обо всей этой истории от директора почт Роже, забытого теперь драматического автора. Услышав рассказ о происхождении своей пенсии, поэт убежал из кабинета Роже с восклицанием ужаса при мысли, что невольно мог оказаться предателем, получившим плату за кровь своей жертвы.

Пенсия в 2 тысячи франков была в то время для Виктора Гюго настоящим богатством. Все главные препятствия к женитьбе были устранены. Генерал Гюго, начинавший верить в призвание сына, изъявил полное согласие на его брак. Сам он был уже вторично женат и жил в городе Блуа. Перед свадьбой Виктор Гюго говел и исповедовался у знаменитого Ламеннэ. Свадьба поэта, обещавшая, по-видимому, быть радостным торжеством, оказалась весьма печальной. К концу обеда, за которым собралось много гостей – родственников и посторонних, – брат Виктора Гюго, Эжен, проявил впервые признаки умопомешательства.

Вскоре после женитьбы Виктор Гюго издал свой первый роман «Ган Исландский» («Hap d'Islande»), но не подписал его своим именем. Критика приняла его неласково. Она удивилась и рассердилась. Действительно, это был первый шаг поэта по пути романтизма, и классический дух присяжных литературных критиков как бы предчувствовал наступающий переворот в умах писателей и вкусах публики. В числе немногих доброжелателей автора оказался Шарль Нодье. Отсюда проистекла крепкая дружба, продолжавшаяся до самой смерти Нодье.

Вслед за появлением «Гана Исландского» издатели начали обращаться к Виктору Гюго с заказами на статьи. Он сделался сотрудником «Французской Музы», вскоре, однако, прекратившей существование. Впрочем, он уже раньше писал в различных журналах и, между прочим, в «Литературном консерваторе», где познакомился с Ламартином.

В этом журнале, существовавшем с 1820 по 1821 год, был впервые напечатан «Бюг Жаргаль» («Bug Jargal»), рассказ, где автор выступал защитником угнетенных негров. «Бюг Жаргаль», не привлекая сначала внимания, был написан еще в пансионе. В 1825 году Виктор Гюго переработал его и издал отдельной книгой. После «Гана Исландского», напечатанного в 1823 году, он показался довольно бледным, но теперь читался с интересом благодаря имени автора, начинавшего приобретать известность. Все более или менее выдающиеся таланты в литературе и искусстве стремились познакомиться и сблизиться с Виктором Гюго. Он в то время написал довольно много критических статей, разбирая труды Ламеннэ, Вольтера, Вальтера Скотта и Байрона. В статье о Байроне он прямо высказывает, что, по его мнению, так называемая классическая французская литература отжила свой век, и горячо ратует за свободу литературного творчества. К этому периоду относится также изменение в политических

взглядах Виктора Гюго. Восторженные рассказы его отца о Бонапарте и подвигах французской армии воодушевили поэта, и он становится певцом родного воинства. Переход его от роялизма к бонапартизму совершился с полнейшей искренностью внутреннего чувства. С той же искренностью он впоследствии сделался защитником республиканских идей. Помимо названных выше романов и статей, «Оды и баллады» («Odes et ballades»), в состав которых вошли напечатанные раньше «Оды и различные стихотворения», появились новым изданием. Известный критик С.-Бев написал о них пространную рецензию в газете «Globe». И вдруг, вслед за всеми этими произведениями, пропитанными монархическим духом, появляется совершенно чуждая им по направлению «Ода Колонне». Она была сочинена по следующему поводу. В феврале 1827 года австрийский посланник давал большой званый вечер. Слугам, докладывавшим о приезде гостей, было приказано называть французских маршалов, получивших дворянство при Наполеоне, не по их имперским титулам, а просто по фамилиям, с прибавлением военного чина. Эта демонстрация взбесила парижан, видевших в ней желание унижить французскую армию. Виктор Гюго также пришел в негодование и излил его в оде, которая наделала очень много шума.

Теперь для поэта наступает эпоха новой деятельности: он стремится испытать свои силы на поприще драматического творчества. Однажды Тейлор, директор, или, как он тогда именовался, королевский комиссар театра «Французская комедия», спросил Виктора Гюго:

– Почему не напишете вы чего-нибудь для театра?

– Я думаю об этом, – отвечал поэт. – Я даже начал драму из жизни Кромвеля.

– Ну так кончайте ее и отдайте мне. «Кромвель», написанный вами, может быть сыгран только Тальмой.

Устроили свидание поэта с трагиком, которому тогда шел шестьдесят шестой год. Встреча была дружеской, обменялись обещаниями. К сожалению, Тальма вскоре заболел и умер; драма вовсе не была поставлена на сцене – пугала ее длина. Только впоследствии, в восьмидесятых годах, пошла речь о том, чтобы дать ее в «Одеоне»; она была значительно сокращена, и это было сделано поэтом уже пятьдесят лет тому назад... Из-за невозможности появиться на сцене «Кромвель» вышел из печати с предисловием, похожим на объявление войны. Произошел необычайный переполох: классики скрежетали зубами. «Французская газета» злобно сравнивала Виктора Гюго с д'Арленкурром и отдавала предпочтение последнему.



Париж. Рю де Константин. Фотограф – Чарльз Марвилль. 1865 г.

«Непрерывный гул обычно стоящий над Парижем днем, – это говор города, ночью – его дыхание»

(Виктор Гюго)

Некто Непомук Лемерсье восклицал: «Всякие Гюго безнаказанно пишут стихи!» Против молодого поэта в среде классиков разгорелась самая яркая вражда; но, умея также внушать горячую дружбу, он приобрел вскоре многих сторонников из числа непредубежденных людей. Составилось два лагеря, и завязалась известная борьба классиков с романтиками. Помимо различных неприятностей, исходивших из литературного мира, Виктору Гюго пришлось испытать в этот период своей жизни много семейных печалей: так, он получил почти одновременно известия о том, что скончались его отец, теща и брат Эжен, несколько лет уже страдавший душевной болезнью. Но горе для таких сильных натур является новым стимулом к труду. Поэт работал более, нежели когда-либо, и с мужеством перенес падение «Эми Робсар» на сцене; в это же время он задумал «Feuilles d'Automne» («Осенние листья») и написал «Les Orientales» («Восточные мотивы»), которые появились в печати в январе 1829 года. Со своей драмой «Марион Делорм» Виктор Гюго испытал первую серьезную неудачу как драматический писатель. Он создал эту замечательную по живости действия и страстности вещь в двадцать четыре дня, с первого по двадцать четвертое июня 1829 года. По окончании он прочел ее нескольким друзьям. Присутствовавший при этом Тейлор выпросил ее у автора для своего театра. Роли были тотчас розданы, а рукопись отослана в цензуру. Все дело зависело от министра Мартиньяка, но он покровительствовал Казимиру Делавину, сам пописывал и принадлежал к лагерю, враждебно относившемуся к молодому автору. Пьесу запретили. Тогда Виктор Гюго лично отправился к Карлу X, который оказался снисходительнее своего министра и приказал отдать «Марион Делорм» на пересмотр Лабурдонне. Но это не помогло: пьеса была вторично запрещена, и постановку ее пришлось отложить до будущего, более счастливого времени. Королю стало жаль поэта, и он решил утешить его, дав ему еще пенсию в четыре

тысячи франков. Виктор Гюго поблагодарил, но от пенсии отказался и занялся новой драмой – «Эрнани». В следующем октябре он прочел ее комитету «Французской комедии» и вызвал единодушный восторг. Лучшие актеры того времени, с г-жой Марс во главе, разобрали не только первые, но и второстепенные роли. Однако репетиции шли не совсем гладко. Г-жа Марс, сначала восхищенная, теперь капризничала, ссорилась со всеми и уверяла, что скромность не позволяет ей произносить некоторые из стихов Виктора Гюго. Дюма-отец с неподражаемым юмором рассказывает все, что происходило по поводу стиха:

Вы, мой лев, прекрасны и великодушны!

Г-жа Марс ни за что не хотела сказать Эрнани: «Вы, мой лев»... и требовала права назвать его «монсеньером», что в конце концов и сделала, несмотря ни на кого и ни на что.

«Эрнани» давали в первый раз 28 февраля 1830 года. Зал был переполнен зрителями. Весь парижский высший свет, или, как его тогда называли, «бомонд», собрался в ложах, полный скептицизма и угрозы. В партере находились главным образом представители молодой Франции. Они решили во что бы то ни стало одержать победу, но победа одержалась сама собой. Развязка была своего рода опьянением, – не послышалось ни одного протеста. Пресса оказалась, однако, не столь благосклонной. За исключением «Journal des Débats», все журналы выказали фанатическую вражду к автору, и смелость вернулась к противникам Виктора Гюго.

Второе представление не было похоже на первое: «бомонд» насмехался, раздавались свистки; монолог Карла V вызвал громкий смех. И это повторялось на всех сорока пяти представлениях пьесы.

Чтобы утешиться от такого горького испытания, Виктор Гюго весь отдался «Собору Парижской Богоматери» («Notre Dame de Paris»). Уже с первых глав печаль его исчезла; он не чувствовал ни усталости, ни холода наступившей зимы; в декабре он работал с открытыми окнами. Он защищал в этом романе древние памятники народного искусства и дорогую ему старинную французскую архитектуру. Над этой гениальной вещью он работал не более пяти месяцев и окончил ее к январю 1831 года. Бутылка чернил, купленная в тот день, когда он начал писать, тоже была «окончена», и ему пришлось было на ум озаглавить свою книгу следующим образом: «Что заключается в бутылке чернил».

Критика сильнее прежнего напала на автора, но публика не обращала на нее внимания, и издание за изданием расходилось так скоро, что издатель Госселен умолял Виктора Гюго дать ему еще что-нибудь. Поэт обещал два новых романа: «La Quiquengrogne» («Кикангронья» – собственное имя старинной башни) и «Le fils de la bossue» («Сын горбуньи»), которые, однако, никогда, даже и впоследствии, не были написаны.

Между тем исторические события шли своим чередом. Трон Франции перешел от старшей линии Бурбонов к младшей, именно к Людовику-Филиппу, причем установилась конституционная, так называемая Июльская, монархия. Она, между прочим, уничтожила цензуру, от которой столько приходилось терпеть Виктору Гюго. Теперь сделалась возможной постановка «Марион Делорм», и г-жа Марс начала просить пьесу у автора. Он, однако, колебался; он еще помнил манифестации публики, посещающей «Французскую комедию». В это время директор театра «Порт С.-Мартен», со своей стороны, просил у него драму, и Виктор Гюго отдал ему предпочтение. Роль Марион была поручена г-же Дорваль; но она сыграла ее неровно. Успех был неполный, последний акт приняли враждебно, – защита вышла слаба, прежние сторонники «Эрнани» отсутствовали. Народные беспорядки вообще отвлекали публику от театра, и драма не имела того успеха, которого заслуживала. Судьба «Le roi s'amuse» («Король забавляется») была еще хуже. В день первого появления этой пьесы на сцене «Французской комедии» все были заняты разнесшимся по городу слухом о покушении на Людовика-Филиппа. Только поверхностное и насмешливое внимание было обращено на драму. Время от времени раздава-

лись ропот, смех и даже свистки. Слышались и рукоплескания, но враждебные манифестации заглушали их. Когда представление окончилось, Виктора Гюго спросили, нужно ли назвать его имя публике.

– Милостивый государь, – отвечал поэт спрашивавшему, – я несколько больше верю в достоинства моей драмы с тех пор, как она пала.

На следующий день пьеса была запрещена, под предлогом ее безнравственности. д'Аргу, министра торговли и общественных работ, в ведении которого в то время находился театр, уверили, что она невозможна в политическом отношении, так как в ней есть намеки на Людовика-Филиппа. Итак, цензура вдруг снова заявила о своем существовании. Начался процесс. Спорное дело было перенесено в Коммерческий суд, которому предстояло решить, имеет ли министр право, в виду хартии, уничтожавшей цензуру, применять ее к литературному произведению или конфисковать его. Виктор Гюго вел защиту лично при помощи Одиллона Барро, знаменитого юриста. Это была первая речь поэта перед публикой. Ему рукоплескали несколько раз, но суд признал министра правым. Тогда Виктор Гюго написал министерству внутренних дел, что отказывается от получаемой им правительственной пенсии в 2 тысячи франков.

Названные выше драмы Виктора Гюго были в стихах, но он для некоторых своих драматических произведений пользовался также прозой. Из них «Лукреция Борджиа» была дана в театре «Порт С.-Мартен». Г-жа Жорж играла роль Лукреции, и успех на этот раз был неоспоримым. Директор театра Гарель был вне себя от восторга и всюду повторял, что никогда еще не зарабатывал столько денег. Он тотчас заключил с Виктором Гюго условие на две другие вещи. Но директор этот был капризен. Когда была ему принесена «Мария Тюдор», он начал ссылаться на всевозможные затруднения, старался поссорить Виктора Гюго с Александром Дюма, уверяя, что должен сначала дать пьесу Дюма, и кончил тем, что сам устроил нечто вроде заговора против собственного театра. Как ни хорошо, однако, было подготовлено падение пьесы, оно далось не без труда: публика горячо протестовала против наемных свистков.

– Есть негодяи в зале! – крикнула г-жа Жорж автору, когда он вошел в ее ложу.

– В зале ли? – отвечал Виктор Гюго.

Он понес «Анжело» во «Французскую комедию». Ему нужны были две хорошие исполнительницы, и он избрал актрис Марс и Дорваль, которые согласились, но тотчас же завели нескончаемые распри одна с другой. Несмотря, однако, на все закулисные интриги, «Анжело» имел неоспоримый и большой успех.

«Эсмеральда», данная некоторое время спустя в опере, пала жертвой политических страстей журналистов. Г-жа Бертен, написавшая для нее музыку, была дочерью главного редактора журнала «Des Débats», органа либералов. Враги отца отомстили дочери: опера дошла только до восьмого представления, прерванного такой бурной и враждебной демонстрацией, что занавес упал, чтобы не подниматься более.

В это время Антенор Жоли хлопотал об открытии театра «Ренессанс». Здесь, среди неоконченных построек, происходили репетиции «Рюи Блаза», в толпе рабочих, под обваливающейся штукатуркой... Падающая полоса железа едва не убила Виктора Гюго. В день первого представления ничего не было окончено: печей не успели поставить, двери не затворялись; но пьеса согревала публику. Знаменитый Фредерик Лемэтр играл в ней. На этот раз успех был полный, как в театре, так и в прессе. Однако в следующие дни раздалось несколько враждебных голосов, но их принудили умолкнуть, и «Рюи Блаза» сыграли пятьдесят раз, что для того времени значило очень много.

Несмотря на все успехи Виктора Гюго, приверженцы псевдоклассицизма своими интригами добились того, что «Французская комедия» перестала давать его драмы, под предлогом цензурных затруднений. Вследствие этого в ноябре 1837 года Виктор Гюго начал в Коммерческом суде процесс с дирекцией театра, желая принудить ее либо исполнить свои обязательства, либо так или иначе вознаградить его за то, что его пьесы держались столько времени под

сукном. Коммерческий суд признал справедливость иска и присудил «Французскую комедию» к уплате автору шести тысяч франков за убытки и к постановке на сцене «Эрнани», «Марион Делорм» и «Анжело». Высшие инстанции утвердили приговор Коммерческого суда. «Эрнани» снова был дан и имел громадный успех, объясненный одним из классиков тем, что «автор переменил все стихи...»

Последняя пьеса, переданная Виктором Гюго театру, была «Les Burgraves» («Бургграфы»). Зрители остались совершенно холодны к этой эпопее, возбудившей опять много споров и даже неприязненных столкновений в прессе.

С тех пор, усталый от пятнадцатилетней борьбы с анонимными низостями, Виктор Гюго отошел от театра. В это время уже были написаны его «Близнецы» («Les jumeaux»), был начат «Меч» («L'Épée») и многое другое, с чем суждено познакомиться только настоящему поколению его поклонников.

Глава III

В. Гюго как лирический поэт. – Избрание его в Академию. – Король возводит его в звание пэра Франции. – Сближение поэта с Людовиком-Филиппом. – Переход к республиканскому образу мыслей. – Избрание В. Гюго в Учредительное собрание. – Июньские дни. – Деятельность в Законодательном собрании. – Переворот 2 декабря 1851 года. – Борьба В. Гюго с бонапартизмом. – Жизнь в Брюсселе. – Высылка из Бельгии. – Жизнь и деятельность на о-ве Джерсее. – Высылка из Джерсея. – Переезд на о-в Гернсей. – «Готвиль-Хауз». – Жизнь и деятельность на о-ве Гернсее. – «Отверженные». Отношение к ним Ламартина.

Борьба в театре не мешала Виктору Гюго заниматься лирической поэзией. Он в этот период своей жизни написал: «Feuilles d'Automne» («Осенние листья»), «Chants du Crépuscule» («Песни сумерек»), «Voix Intérieures» («Внутренние голоса») и «Les Rayons et les Ombres» («Лучи и тени»). Но его привлекали также философские и политические вопросы. Не имея материальных средств, он не мог быть избран в палату депутатов; он не мог попасть и в палату пэров, так как не принадлежал ни к одной из тех категорий населения, откуда король имел право отбирать кандидатов на звание пэра. Академия же находилась в числе этих категорий, и Виктор Гюго решил выставить там свою кандидатуру. Ему четыре раза пришлось повторить это. Сначала ему предпочли Дюпати, Моле и Флуранса. Большая часть академиков принадлежала к псевдоклассической партии, и все они враждебно относились к Виктору Гюго. Среди них Алексис Дюваль не умел скрыть этой враждебности даже во время обычного визита, который кандидат в Академию делает перед своим избранием; он был почти груб с Виктором Гюго, когда тот явился к нему.

– Что вы сделали этому академику? – спросил поэта один из его друзей.

– Я ему сделал «Эрнани», – с улыбкой отвечал Виктор Гюго.

В 1839 году Дюваль, парализованный, полумертвый, приказал нести себя в Академию, чтобы голосовать против Виктора Гюго. Ройе Коллар, видя этого несчастного, с потухшим взором, стонущего от боли в то время, когда слуги несли его по лестнице, воскликнул: «Назовите мне бессовестного, виноватого в том, что сюда несут умирающего. Скажите мне его имя, и я вечно буду класть ему черные шары!»

Он, однако, «не сдержал слова» и подал голос за Виктора Гюго.

Только с четвертой попытки двери Академии растворились перед поэтом. Он наследовал тому самому Непомуку Лемерсье, о котором упоминалось выше. Третьего июня 1841 года Виктор Гюго, по обычаю, произнес похвалу этой всеми забытой посредственности и избрал темой для своей речи независимость характера Лемерсье. Этот писатель, будучи настолько близок с Бонапартом, что говорил ему «ты», никогда не склонялся перед волей императора Наполеона. Во всей Франции только и насчитывалось в то время шесть таких независимых и твердых людей: Лемерсье, Дюсис, Делиль, г-жа Сталь, Бенжамен Констан и Шатобриан. Отталкиваясь от этих редких примеров, Виктор Гюго заключал, что задача литературы состоит в распространении цивилизации и в протесте против тирании и несправедливости.

Новый академик сказал впоследствии несколько других речей. Он произнес посмертную похвалу Казимиру Делавиню и отвечал критику С.-Беvu, также вступавшему в число «бессмертных». Этим он ограничился как оратор, но много работал со своими товарищами и не ленился прочитывать все книги, присылаемые на соискание различных премий. Виктору Гюго недолго пришлось ждать звания пэра, для получения которого он, собственно, и добивался избрания в Академию. Король возвел его в это достоинство 13 апреля 1843 года. Но испытанная поэтом радость была непродолжительной: вскоре он получил известие,

что его дочь Леопольдина и муж ее Шарль Вакери утонули в Сене, катаясь на лодке. В «Contemplations» («Созерцания») мы встречаем отклики на это тяжелое несчастье, поразившее бедного отца.

Вообще, до той поры семейная жизнь поэта отличалась почти безмятежным счастьем. Жена была ему умной и преданной подругой, дети оправдывали все надежды любящего отца. Возле семьи группировался круг избранных друзей, утешавших и защищавших поэта от нападок врагов. В числе преданнейших был, между прочим, Эмиль де Жирарден, основавший газету «Пресса». Виктор Гюго написал статью, объявлявшую о ее выходе, где, высказываясь противником всяких крайностей, призывал все человечество под знамя прогресса. Ввиду подобного образа мыслей поэт мог быть в совершенно искренних отношениях с Людовиком-Филиппом, который весьма ценил его лично, хотя скептически смотрел на искусство и литературу, как, впрочем, на все в мире. Журналы оппозиции вообще обвиняли двор в пренебрежении к величайшим литературным талантам. Упрек был до известной степени справедлив, и правительство начало делать попытки сближения. Во время праздников по поводу бракосочетания герцога Орлеанского Виктор Гюго был приглашен ко двору. Он сначала не хотел ехать, но герцог, по просьбе герцогини, написал ему такое любезное письмо, что отказ сделался невозможным. Поэт явился в Версаль и был представлен герцогине. Она следующими словами встретила автора «Собора Парижской Богоматери»:

– Милостивый государь, первое здание, которое я посетила в Париже, была ваша церковь.

С этого времени, то есть с июня 1837 года, начинаются постоянные встречи Виктора Гюго с Людовиком-Филиппом, который понимал, что люди подобного ума и развития могли быть ему весьма полезны. Однажды коронованный хозяин и гость-поэт до того заговорились, что забыли о позднем часе. Слуги вообразили, что король лег спать, потушили освещение и ушли к себе. Когда Виктор Гюго собрался домой, то везде было темно, и Людовик-Филипп, не желая никого будить, сам с канделябром в руке проводил поэта до выходной двери, причем разговор продолжался еще некоторое время на лестнице.

Виктор Гюго, сблизившись с королем, не скрывал от него правды, указывал ему на необходимость заняться положением крестьянского и рабочего сословий, настаивал на борьбе с развращенностью богатых классов общества, и если бы правительство Людовика-Филиппа сдержало свои обещания, то поэт остался бы тем, к чему предназначала его природа, то есть философом, наблюдающим жизнь и довольствующимся мыслью, что ему удастся поучать и утешать человечество. Когда народ возмутился, вследствие ошибок, наделанных администрацией, то Виктор Гюго, помня, что присягал королю, предложил было регентство герцогине Орлеанской; но дух времени увлек его, и он кончил тем, что примкнул к республике.

Что касается политической деятельности Виктора Гюго в палате пэров, то нужно сказать, что в течение первых трех лет он совсем не решался подняться на трибуну оратора. Только в 1846 году он выступил в защиту права художественной собственности. Первая политическая речь его касалась Польши. Затем он поддерживал петицию Жерома-Наполеона Бонапарта, просившего палаты о позволении его семье вернуться во Францию. Здесь, как и всегда впоследствии, Виктор Гюго восставал против жестокости изгнания. Наконец, в 1848 году он поддерживал дело итальянского единства. Это было его последней манифестацией в звании французского пэра.

Скоро ему пришлось перенести свою деятельность в Учредительное собрание. Людовик-Филипп пал, была провозглашена республика. Пятого июня 1848 года Виктор Гюго был избран народным представителем большинством в 86 965 голосов и сначала отказался примкнуть к какой бы то ни было группе, а занял выжидательную позицию. Он решил поступать согласно велениям своей совести, и первая речь его по поводу национальных мастерских показала окончательный разрыв писателя с реакцией.



Луи-Филипп I (1773–1850) – лейтенант-генерал королевства с 31 июля по 9 августа 1830 года, король французов с 9 августа 1830 по 24 февраля 1848 года, получил прозвища «король-гражданин» и «король-буржуа», а в последние годы – «король-груша» (из-за своей тучности),

представитель Орлеанской ветви династии Бурбонов. Художник – Франц Ксавер Винтерхальтер.

«Великие люди сами сооружают себе пьедестал; статую воздвигает будущее»
(Виктор Гюго)

Во время июньских дней он старается примирить враждующие партии; затем вырывает из рук Кавеньяка, сколько может, жертв и предложением амнистии стремится смягчить жестокость репрессий; наконец, он заставляет собрание отказаться от преследования Луи Блана и Коссидьера и делает все, чтобы не было объявлено, что Кавеньяк «заслужил одобрение отечества».

Это было доказательством большого мужества. Избранный в Законодательное собрание Виктор Гюго разошелся со всеми своими бывшими друзьями, что с их стороны вызвало ожесточенные укоры. Его прозвали «перебежчиком».

Виктор Гюго не щадил себя. Везде он стоял в первом ряду. Вечер и утро он посвящал литературе, день проводил в Законодательном собрании. Он писал легко и говорил также без труда и совершенно свободно. Его не сбивало с толку, когда его прерывали. Если смелость его мыслей или их выражения вызывала гнев его противников, он молча прислонялся к трибуне, переживал вспышку и затем спокойно продолжал. Быстрые возражения его жестоко бичевали противника. Его речь о бедности, законченная требованием принятия закона против нее, произвела глубокое впечатление. Правая партия возмутилась, раздались насмешки и ругательства. Он строго отнесся к римской экспедиции и был безжалостен к Пию IX, что вывело из себя Монталамбера, который резко упрекнул Виктора Гюго в «измене».

– Если мы теперь не вместе, – отвечал Виктор Гюго, – то это потому, что г-н Монталамбер перешел на сторону угнетателей, а я остался с угнетенными.

Закон Фаллу о свободе преподавания вызвал в нем горячие возражения. Виктор Гюго требовал, чтобы клерикальное образование имело целью небо, а не землю, чтобы церковь оставалась в своей области, а государство – в своей.

Когда министр юстиции Руэр предложил проект своего закона о ссылке, который комиссия, разрабатывавшая его, сделала еще более тяжелым, допустив, что действие закона может распространяться на прошедшее время, Виктор Гюго горячо восстал, резюмируя свое мнение следующим образом:

– Когда люди создают закон несправедливый, Бог влагает в него справедливость и бичует им тех, кто его придумал.

На другой день была организована сочувственная подписка для распространения речи Виктора Гюго по всей Франции. Эмиль де Жирарден требовал, чтобы была вычеканена медаль с изображением оратора и с надписью, передающей его слова. Правительство позволило выпуск медали, но запретило надпись. Оно было глубоко задето следующими словами в речи Виктора Гюго:

«Посмотрите и обдумайте: кто вступил на трон Франции в 1814 году? Гартвельский изгнанник! Кто царствовал после 1830 года? Изгнанник Рейхенауский, сделавшийся в настоящее время изгнанником Кларемонским! Кто управляет ныне? Узник Гама! После этого придумывайте законы для ссылки!»

Виктор Гюго искренно и горячо исповедовал республиканский образ мыслей и энергично боролся против всяких распоряжений, могущих тем или другим путем стеснить периодическую печать.

По поводу пересмотра конституции, предложенного президентом, он произнес свое известное выражение: «Европейские Соединенные Штаты».

«Это выражение, – говорит издатель „Actes et paroles“ („Дела и речи“), – вызвало всеобщее удивление. Оно было ново». Его в первый раз произнесли с трибуны. Оно привело правую партию в негодование и в то же время рассмешило ее. Раздался настоящий взрыв смеха, к которому примешивались разного рода восклицания. Депутат Бансель, что называется, на лету записал некоторые из них:

Монталамбер. Европейские Соединенные Штаты! Это уже слишком! Гюго с ума сошел.

Моле. Европейские Соединенные Штаты? Вот идея! Какое безрассудство.

Кантен-Бошар. Ну уж эти поэты!

Прения были ожесточенными. Виктору Гюго приходилось отражать нападения со всех сторон. Президентом был Дюпен. Он прекращал беспорядки только в том случае, если их производила левая партия. Между прочим Виктор Гюго сказал: «Не нужно, чтобы Франция в одно прекрасное утро нашла, что у нее, неизвестно почему, уже есть император».

Раздались новые возгласы, смех: «Император! Кто говорит об императоре?»

Но Виктор Гюго продолжал: «Неужели только потому, что был такой человек, который одержал победу при Маренго и потом царствовал, вы тоже хотите царствовать, вы, которые одержали победу только при Сатори!..»

Левая партия рукоплескала, правая – топала ногами.

«Неужели только потому, что после десяти лет безмерной славы, славы почти сказочной по своему величию, он уронил от истощения этот скипетр и этот меч, которые совершили столько великого, вы, в свою очередь, являетесь, вы хотите поднять их после него так, как он, Наполеон, поднял их после Карла Великого, и взять в ваши хилые ручонки этот скипетр титанов, этот меч гигантов! Для чего? Неужели после Августа – Августул! Неужели потому, что у нас был Наполеон Великий, нам нужен Наполеон Малый!..»

Здесь шум сделался невообразимым. Речи и само заседание были прерваны. Ругательства сыпались отовсюду, сжимались кулаки. Все эти Лепики, де ла Москова, Бароши, Бриффо, Клари, впоследствии все более или менее причастные ко второму декабрю, возмущались и ревели. Но Виктор Гюго не терял присутствия духа.

«Я продолжаю, – просто сказал он, когда буря на минуту утихла. – Нет, после Наполеона Великого я не хочу Наполеона Малого. Уважайте великое! Довольно пародий. Чтобы иметь право начертать орла на знаменах, нужен орел в Тюильри. Где он?»

Фоше и Аббатучи бесновались. С минуту можно было думать, что начнется рукопашная схватка: все вскакивали с мест, все бежали к трибуне. Министр иностранных дел кричал: «Вы знаете, что это неправда, мы протестуем!»

Министр внутренних дел не понимал, как дозволяют оскорблять «президента республики!»

Вдруг раздался возглас: «Цензуру, цензуру!»

Виктора Гюго призывали к порядку. Он удивился.

– Кто это сказал? – спросил он.

– Я! – отвечал один из членов правой партии.

– Кто – вы?

– Я! Мы не хотим больше слышать этого. Плохая литература ведет к дурной политике. Мы протестуем во имя французского языка и французской литературы. Отправьте все это в театр «Порт С.-Мартен», господин Виктор Гюго.

Виктор Гюго отвечал:

– Вы, как оказывается, знаете мое имя, а я не знаю вашего. Как вас зовут?

– Бурбусон.

– Это больше, нежели я ожидал!

Заседание окончилось довольно мирно. Виктор Гюго очень спокойно настаивал на необходимости отказать в пересмотре конституции и предсказывал на 1852 год то, что случилось

в конце 1851-го. Его совету, впрочем, последовали, и постановление утверждено не было. Понятно, сколько он в этот день возбудил ненависти к себе.

Когда наступил переворот второго декабря, Виктор Гюго уговаривал своих друзей взяться за оружие. Они же находили лучшим переждать и только поручили ему, вместе с Шарамолем и Форестье, сделать призыв к «легионам права» против нарушения права. Вместе с друзьями он поехал на бульвар дю-Тампль, где было назначено собраться. На углу улицы Мелей молодежь узнала его и с громкими приветствиями просила совета, как им поступать.

– Изорвите мятежные манифесты, кричите: «Да здравствует конституция!» и атакуйте Бонапарта! – сказал им Виктор Гюго.

– Говорите тише, – прервал его торговец, запиравший свою лавку. – Если вас услышат, то расстреляют.

– Ну, что же, вы пронесете мой труп по городу! Моя смерть будет прекрасна, если вызовет проявление Божией справедливости!

Толпа была готова следовать за Виктором Гюго, стремившимся увлечь ее, но Шарамоль удержал его ввиду артиллерии, выступавшей из-за Шато-д'О. Убедившись, что они ничего не могут сделать с теми, которые намерены выждать, делегаты вернулись в свой комитет и ограничились прокламацией.

Виктор Гюго диктовал прокламацию; Боден писал ее. За ней была составлена другая, к армии, и подписана именем поэта. После этого прения в комитете продолжались. Кто-то пришел сказать о появлении войск, и в минуту патриотического порыва решение бороться с целой армией за неприкосновенность республики было провозглашено единодушно. Но нужно было организовать, устроить баррикады. Все выбежали на улицу, говорили народу речи, призывали к отпору. Виктор Гюго был из самых неутомимых. Голову его оценили: обещали 25 тысяч франков тому, кто арестует или убьет его. Скоро сделалось очевидным, что всякая надежда потеряна и что преступление торжествует. Виктора Гюго уговорили искать убежища. Он с трудом нашел его, и то у старого роялиста, который и скрывал его у себя до двенадцатого декабря. В этот день переодетый поэт бежал из Парижа в Брюссель, куда вскоре переехала и г-жа Гюго. Что касается сыновей поэта, то они, вместе с некоторыми из своих друзей, также занимавшихся литературой, уже сидели в это время в тюрьме за проступки против законов о печати.

На следующий же день по приезде в Брюссель, т. е. 14 декабря 1851 года, Виктор Гюго принялся писать свою «Историю преступления». Каждое утро прибывавшие в город изгнанники являлись к нему и сообщали о событиях новые факты. Дюма-отец уже некоторое время жил в Брюсселе не как изгнанник, а для того чтобы иметь возможность спокойно работать. Он часто виделся с поэтом и под впечатлением его речей дал слово не знаться с Наполеоном III; слово это он свято сдержал. В это время он писал свои «Мемуары», и приводимые там подробности о детстве и юности Виктора Гюго писаны почти что под диктовку поэта. В Брюсселе собралось вскоре множество изгнанников; в числе их были лучшие представители французской литературы, искусства и науки. Как только сыновья Виктора Гюго отбыли свои сроки в тюрьме, они приехали к отцу. Бельгия сначала приняла поэта очень гостеприимно; народ любил его; брюссельский бургомистр навещал его ежедневно и выслушивал ходатайства писателя о смягчении положения бедных изгнанников. Вдруг появился «Наполеон Малый» («Napoléon le petit»), и бельгийское правительство, из боязни Наполеона III, решило изгнать Виктора Гюго. Но этого нельзя было сделать – это было бы противозаконно. Тогда создали новый закон, позволявший нарушать бельгийское право убежища. Изгнанный из Брюсселя поэт отправился в Англию, но недолго пробыл там и вскоре переехал на остров Джерсей, куда прибыл 5 августа 1852 года. На берегу его встретила и приветствовала небольшая группа французских изгнанников.

На Джерсее Виктор Гюго поселился близ моря, в доме, известном под именем «Марин-Террас». У него было в то время около семи тысяч франков дохода, на которые нужно было

содержать семью из девяти человек. Во Франции сочинения его не приносили ему ничего. Постановка на сцене его драматических произведений была запрещена. Считалось предосудительным и опасным читать что-нибудь подписанное его именем, которое даже боялись произносить; «Наполеон Малый», расхोлившийся в несметном количестве экземпляров, обогащал только брюссельских издателей, как позднее «Les Châtiments» («Кара»).

На Джерсее Виктора Гюго приняли очень радушно. О его приезде говорилось во всех местных газетах. Впрочем, джерсейцы уважали не столько поэта, сколько пэра Франции, и в этом качестве он, по законам острова, имел право не наблюдать за тем, чтобы пространство, находящееся перед его домом, было подметено и трава на нем вырвана дочиста. Но зато он был обязан ежегодно платить английской королеве дань, состоящую из двух куриц, и сборщик податей каждый год неукоснительно взыскивал их стоимость с поэта.

Жители титуловали Виктора Гюго «милордом», и губернатор острова, на основании местных законов, пользовался меньшими правами, чем изгнанник – пэр Франции. Джерсей находится под протекторатом Англии, которая с полным уважением относится к его средневековым законам и патриархальным обычаям. Джерсейцы до того религиозны и так чтут «день субботний», что когда однажды королева Англии приехала на остров в воскресенье, то возмущенные жители даже не кланялись ей, – только один Виктор Гюго снял шляпу при встрече с ней. Джерсейцы трудолюбивы, трезвы и зажиточны. Сам остров представляет настоящий земной рай, с прекрасным мягким климатом и замечательно живописным местоположением.

И на Джерсее Виктор Гюго не был бездеятелен, но словом и пером продолжал борьбу с реакцией. Его надгробные речи на могилах изгнанников Жана Буске, Луизы Жюльен и Феликса Бонн доказывали, что он не умиротворился. Он написал Наполеону письмо в виде прокламации, которую французский император мог прочесть на всех стенах Дувра во время своей поездки в Англию для посещения королевы Виктории. К этому прибавилась еще «Les Châtiments» («Кара»). Книга читалась во Франции всеми, несмотря на строгий запрет, и вызвала слезы скорби и негодования. Наполеон III был глубоко оскорблен этой бичующей сатирой и уговорил королеву Викторию изгнать поэта из Джерсея, на что жители острова, за немногими исключениями, изъявили полную готовность.

Коннетаблю де С.-Клеману было поручено передать Виктору Гюго приказ о выезде. Он был бледен как смерть, исполняя свою тяжелую обязанность, и, уходя, спросил изгнанника, в какой день тот думает ехать.

– Зачем вам нужно знать это? – сказал Виктор Гюго.

– Чтобы прийти сюда в этот день и выразить вам мое уважение, – отвечал коннетабль.

2 ноября 1855 года Виктор Гюго переехал на Гернсей.

Остров Гернсей меньше Джерсея – там не более тридцати тысяч жителей. Климат также прекрасен, но местоположение отличается более суровым видом. Напротив острова, на французском берегу, виднеются скалы С.-Мало, где находится могила Шатобриана. Гернсей, подобно Джерсею, состоит под протекторатом Англии и управляется собственными старыми законами и местными обычаями. Язык островитян представляет смесь одного из нормандских наречий со множеством иностранных и в особенности английских слов. Высшие классы говорят на чистом английском языке. Обычай здесь более сходен с французскими, чем на Джерсее. Интересно, что между жителями обоих островов с давних пор существует враждебность. Благодаря этому изгнанный из Джерсея поэт был с распростертыми объятиями принят на Гернсее. Здесь Виктор Гюго купил дом – «Готвиль-Хауз». Говорили, что он прежде принадлежал женщине, окончившей в нем жизнь самоубийством, и что тень ее является каждую ночь и ходит из комнаты в комнату; вследствие этого никто уже девять лет не жил в «Готвиль-Хаузе». Дом стоит в самом конце города, на скалах, откуда открывается прекрасный вид на море. Виктор Гюго три года работал над перестройкой и украшением его по своему вкусу. Для этого ему пришлось быть самому и архитектором, и рисовальщиком, и живописцем, и обойщиком. Он

придумывал, указывал и объяснял то, что нужно сделать, иногда собственноручно помогал рабочим. Можно по справедливости сказать, что «Готвиль-Хауз» в полном смысле слова его создание.

Жизнь Виктора Гюго и его семьи на Гернсее известна. Все трудились. Дочь поэта занималась музыкой и сочиняла музыкальные пьесы. Старший сын писал романы и драмы. Меньший переводил Шекспира. Г-жа Гюго готовила книгу, где рассказана жизнь ее мужа. Огюст Вакери, живший в семье Гюго, собирал материалы для своих «Крошек истории» («Les miettes de l'histoire») и «Профилей и гримас» («Profils et grimaces»).

«Готвиль-Хауз» представлял своего рода убежище. Всякий являвшийся туда мог быть уверен, что его встретят гостеприимно. Рядом с рабочим кабинетом Виктора Гюго находилась комната, где каждый французский писатель, желавший в тишине и покое создать какое-нибудь литературное произведение, мог найти себе приют. Здесь жили в разное время Жерар де Нерваль, Урлиак, Бальзак, Глатиньи и некоторые другие. Была также комната, предназначавшаяся для Гарибальди, но ему не пришлось воспользоваться гостеприимством Виктора Гюго; тем не менее она всегда называлась «Комнатой Гарибальди». Вся семья Гюго очень любила животных. Огюст Вакери описал некоторых из этих четвероногих друзей дома: Понто, прекрасного, но не очень верного испанского сеттера; Шунью, сторожевую собаку, с ее бурной и грубоватой ласковостью; Лукса, любимую собаку Шарля Гюго; Мушку, белую кошечку с черными пятнами, недоверчивую и молчаливую; и Сената, красивую борзую, привезенную г-жой Гюго из Бельгии.

Что касается самого Виктора Гюго, то он и в «Готвиль-Хаузе» оставался верен себе и своему правилу – работать с утра и до вечера. Теперь он совершенно предался поэтическому творчеству и окончил «Созерцания» («Les Contemplations»), начатые еще на острове Джерсее. Эта книга передает многое из пережитого и прочувствованного им в течение последних двадцати пяти лет – «от жалобы полевой былинки до рыданий отца».

Живя еще на Джерсее, поэт начал также «Легенду веков» («La Légende des Siècles»). На Гернсее он закончил первую часть поэмы, и она появилась в печати в 1859 году. Вот посвящение, напечатанное на первой странице:

Книга, пусть ветер снесет тебя
Во Францию, где я родился.
Вырванное с корнем дерево
Отдает свой поблекший лист.

Книга эта написана Виктором Гюго, по его словам, для того, чтобы «выразить человечество в произведении циклическом, описать последовательно и одновременно все его проявления в истории, басне, философии, религии, науке, что все резюмируется в одном великом движении – стремлении к свету. Как бы в зеркале, одновременно и мрачном, и сияющем, показать великий образ, единичный и многообразный, мрачный и лучезарный, роковой и священный, – человека... вот такая мысль, какое честолюбие, если хотите, породило „Легенду веков“». Появление этой книги вызвало единодушный, удивленный восторг. Даже ядовитый критик Густав Планш перестал браниться, поэты же беспрекословно признали главенство Виктора Гюго. Бодлер первый выразил ему свое восхищение, и с этого времени между ними завязались постоянные письменные отношения.

На Гернсее Виктор Гюго закончил «Отверженных» («Les Misérables»). Он начал этот роман еще до 1848 года, но политические обстоятельства принудили его на время оставить работу. Книга вышла длиннее, нежели он сначала предполагал. В 1862 году она появилась в печати одновременно в Париже, Брюсселе, Лейпциге, Лондоне, Милане, Мадриде, Роттердаме, Варшаве, Пеште и Рио-де-Жанейро. Приводим это в доказательство величия славы поэта к тому времени. Первое парижское издание в 7 тысяч экземпляров разошлось в два дня. К сча-

стью, набор был сохранен, и через две недели уже вышло второе издание. Брюссельское издание разошлось в двенадцати тысячах экземпляров, лейпцигское – в трех тысячах. Переводы – между прочим, и на японском языке, – появились тиражом в 26 тысяч экземпляров, не считая подделок и двух иллюстрированных изданий.

Такой беспримерный успех объясняется тем, что талант Виктора Гюго в «Отверженных» достиг высшей степени своего развития и что он в эту защиту несчастных вложил высоко разумную и горячую любовь к народу, неистощимую доброту, глубокое знание – одним словом, всю свою душу. Философия этого прекрасного творения высказана в нескольких строках предисловия.



Париж «Отверженных». Справа – Госпитальный бульвар, слева – улица Валлонцев (жителей Валлонии).

«Из всего созданного Богом именно человеческое сердце в наибольшей степени излучает свет, но, увы, оно же источает и наибольшую тьму»

(Виктор Гюго)

Когда роман появился во Франции, критика надолго и серьезно занялась им. Интересно, как отнесся к нему Ламартин в своем «Курсе литературы». Заявив, что он в восторге от художественности картин, он высказал неодобрение направлению автора, прибавляя, что ему вообще антипатична радикальная критика общества, ибо общество священо как явление необходимое, хотя и несовершенное, будучи создано человеком. Далее он говорит, что если напишет критический отзыв об «Отверженных», то сделает это под влиянием своего глубокого уважения к автору как человеку, как другу, как блестящему таланту, как гению, – и что он с тем же уважением отнесется к его гениальной эпопее; сознавая, что он восхищается «Отверженными» в смысле талантливости, он сетует, что ему придется ратовать против основной мысли романа, и боится, что, откровенно высказывая свое мнение, невольно может оскорбить автора и обесценить его произведение. Поэтому, замечает он в заключение, он не скажет ни слова о книге, пока сам Виктор Гюго не разрешит ему выразить печатно и восхищение, и неодобрение, которые вызваны в его душе «Отверженными».

Виктор Гюго отвечал Ламартину, давая ему полную свободу относиться к его творению как ему угодно. Между прочим, он говорит:

«Если то, что идеально, – в то же время и радикально, – то да, я радикал; да, во всех направлениях я понимаю, желаю и призываю – лучшее... Да, общество, допускающее нищету, да, человечество, допускающее войну, кажутся мне обществом, человечеством – низшим, а я жажду общества, человечества – высшего. Я хочу, чтобы всякий человек был собственником и ни один – господином.»

Насколько человеку дано хотеть, я хочу уничтожить неумолимость судеб, созданных человеком; я осуждаю рабство, изгоняю нищету, поучаю невежество, лечу болезнь, освещаю ночь, ненавижу ненависть... Вот моя исповедь, и вот почему я написал „Отверженных“.

По моей мысли, „Отверженные“ – не что иное, как книга, основанная на братстве и признающая конечной целью человечества прогресс».

После этого Ламартин решился высказать свое мнение и поведать миру, в чем именно заключается истина. В нескончаемом разговоре с каторжником Батистеном он стремится доказать, что «Отверженных» можно назвать «Преступниками», «Негодьями», «Ленивцами»; что хорошим было бы заглавие «Эпопея канальства» или же «Человек, идущий против своего века». Он утверждает, что Виктор Гюго – болезненно чувствительный мечтатель, и, при этом удобном случае, с величайшей строгостью произносит приговор не только ему, но и Платону, Жан-Жаку Руссо, С.-Симону и Прудону. Наконец, он излагает свои собственные идеалы, причем оказывается, что, по его мнению, на земле человечество совершенствоваться не способно. Оно может возродиться только на небесах; там люди будут уже не людьми, а существами высшими, там не будет непостоянства, невежества, страстей, слабостей, болезней, нищеты и смерти...

Но, признавая, что человечество грешно и общество дурно, Ламартин в то же время не допускает, чтобы Виктор Гюго имел право указывать на их дурные стороны, и глубоко возмущается при мысли, что кто-нибудь может верить в земной прогресс рода людского. Он называет стремление к безграничному идеалу «антисоциальной мечтой» и признается, что преклоняется «перед силой вещей», то есть «перед обществом, этим великим завершившимся фактом веков, как он есть». Для него Виктор Гюго «утопист», а такие люди опаснее негодяев, потому

что к ним относятся без недоверия. Критика оканчивается следующими словами: «„Отверженные“ – книга чрезвычайно опасная, не только потому, что внушает слишком много опасений счастливым, но и потому, что дает слишком много надежд несчастным».

Мы видим, что у Виктора Гюго другие идеалы: он не хочет, чтобы человечество страдало вечно, – он верит, что оно способно совершенствоваться, он принимает в расчет делаемые в этом направлении попытки.

Но поэт не только в своих творениях ратовал за несчастных, он и лично делал им добро. Так, например, с 1861 года на Гернсее матери приводили к нему еженедельно бедных детей, которым давали сытный обед в «Готвиль-Хаузе». Сначала их было восемь, потом – пятнадцать, потом – двадцать два и, наконец, – сорок. Их кормили ростбифом и поили вином. Поэт, его семья и слуги угощали их. На Рождество устраивалась елка с раздачей игрушек, одежды и лакомств. Мало-помалу обычай давать бедным детям еженедельный сытный обед распространился на острове и затем проник в Англию. В Лондоне для этой цели даже построили большое помещение. «Таймс» заявило, что здоровье детей в «Школе оборванцев» в Вестминстере значительно улучшилось с тех пор, как их хоть раз в неделю стали кормить сытно и вкусно.

В связи с выходом «Отверженных» издатели книги, Лакруа и Вербокгофен, устроили в Брюсселе торжественный банкет в честь автора. Участниками его были все лучшие представители литературы и прессы в Европе. Виктор Гюго занимал почетное место; справа от него сидел брюссельский бургомистр, слева – председатель парламента. Обед этот, торжественно данный изгнаннику, был понят как протест против империи. В конце его французские литераторы произнесли несколько сочувственных речей, адресованных Виктору Гюго, на которые тронутый этим поэт отвечал:

«Одиннадцать лет тому назад вы видели отъезд (из Франции) человека почти молодого – теперь вы видите старика. Цвет волос изменился, сердце – нет; благодарю вас за то, что вы здесь: я глубоко растроган этим. Мне кажется, что среди вас я дышу родным воздухом; мне кажется, что каждый из вас принес мне с собою частичку Франции; мне кажется, что из всех ваших душ изливается нечто прекрасное, величественное и лучезарное, и что это – улыбка родины»...

Глава IV

Борьба В. Гюго со смертной казнью. – Семейная жизнь поэта. – Путешествие по Зеландии. – Окончание начатых в изгнании литературных трудов. – «Труженики моря». – Появление драм поэта на французских сценах. – Отказ В. Гюго от льгот, дарованных амнистиями Наполеона III. – Смерть г-жи Гюго.

Являясь в течение всей своей жизни защитником угнетенных, Виктор Гюго горячо ратовал и против смертной казни; он всегда с ужасом и отвращением относился к ней. Уже в 1829 году, пораженный казнью отцеубийцы Жана Мартена, он написал «Последний день осужденного» («Le dernier jour d'un condamné»), появившийся в печати без подписи автора; некоторые критики даже приписывали брошюру какому-нибудь англичанину или американцу. В этом глубоком философском этюде разобраны одна за другой все физические и нравственные пытки, которые непосредственно предшествуют казни. Во взволнованном предисловии, добавленном к брошюре в 1832 году, он говорит:

«Автор намеревался изложить здесь – и ему хочется, чтобы потомство именно так и поняло его творение, – не специальную защиту того или другого преступника лично, что всегда легко и всегда проходит бесследно, а общую и вечную защиту всех настоящих и будущих преступников, т. е. великий вопрос общечеловеческого права, защищаемый перед обществом... вопрос о жизни и смерти, открытый, обнаженный, освобожденный от звучных ухищрений юриспруденции, беспощадно выставленный на свет именно там, где нужно, чтобы он был, и где он действительно на своем настоящем месте, – месте, внушающем ужас, – не в суде, но у плахи, – не пред судьей, а перед палачом».

В 1834 году Виктор Гюго написал «Клод Ге» («Claude Gueux»), который появился сначала в «Парижском обозрении», издававшемся под редакцией Бюлоза. Это случилось через два года после того, как был казнен Клод Ге, о помиловании которого напрасно хлопотал поэт. Этот потрясающий рассказ заканчивается следующим обращением автора к членам палаты депутатов:

«Милостивые государи, во Франции ежегодно отрезают слишком много голов; вы теперь заняты сокращением расходов – сделайте экономию также в этом случае и назначьте больше школьных учителей... Иной убивает на большой дороге, а будучи лучший направлен, он сделался бы отличным слугой общества. Обработайте голову простолодина, поднимите эту новинку, поливайте, удобряйте, просвещайте, утилизируйте ее – и вам не представится нужды ее рубить!»

При всяком конкретном случае Виктор Гюго протестовал против смертной казни, недостойной, по его мнению, существовать у цивилизованной нации.

Тринадцатого мая 1839 года, в то время когда поэт присутствовал при представлении «Эсмемальды», он узнал, что Барбес приговорен к смертной казни за поднятое им восстание. Виктор Гюго тотчас отправился в фойе артистов и написал обращение в стихах к Людовико-Филиппу, где, намекая на смерть принцессы Марии и рождение графа Парижского, говорит:

Во имя Вашего ангела, улетевшего, подобно горлице!
Во имя царственного дитяти, слабого и нежного, как былинка!
Молю еще раз о прощении! Молю во имя могилы!

Молю во имя колыбели!

Король, отказавший в помиловании Барбеса герцогу и герцогине Орлеанским, внял мольбе поэта и тотчас ответил ему:

«Исполняю Вашу просьбу о помиловании; мне остается только выпросить жизнь Барбеса у моих министров».

Министры также пощадили Барбеса.

Людовик-Филипп, сам от всей души ненавидевший смертную казнь, сказал Виктору Гюго, возводя его в звание пэра:

«Титул пэра Франции, самый высокий в нашей политической иерархии, – это награда вашему гению. Но я хочу сказать вам всю мою мысль: в особенности я желаю наградить вас сегодня за вашу столь прекрасную, столь постоянную борьбу против смертной казни».

В 1848 году Виктор Гюго продолжал ту же борьбу в Учредительном собрании.

«Смертная казнь, – говорил он, – есть отличительный и верный признак варварства. Везде, где злоупотребляют смертной казнью, преобладает варварство, – там же, где смертная казнь редка, господствует цивилизация... В заголовке вашей конституции вы пишете: „В присутствии Господа“... и вы хотите начать с того, чтобы отнять у Бога его неотъемлемое право даровать жизнь и прекращать ее»... Далее он прямо требует уничтожения эшафота.

Это предложение было отвергнуто собранием на заседании восемнадцатого сентября.

Сын поэта, Шарль Гюго, защищавший в прессе идеи отца, был даже приговорен к шестимесячному тюремному заключению за одну из своих статей против смертной казни. Ему не помогли ни красноречивая защита отца, ни протест всей либеральной прессы, и он должен был отсидеть назначенный срок.

В изгнании Виктор Гюго оставался тем же противником казней. В защиту прав человека на жизнь им написаны сотни высоко красноречивых страниц. В числе их те, в которых речь идет о Джоне Брауне, они особенно трогательны.

В 1859 году в Америке казнили Джона Брауна, весьма почтенного и глубоко религиозного человека, и вот за что: он посвятил всю свою жизнь уничтожению рабства. «Его великое сердце, – по выражению его вдовы, – страдало от страданий рабов». Он принял участие в войне за освобождение негров. Два его сына были убиты. Сам он, весь израненный и обессиленный потерей крови, был взят в плен южанами. На матраце, сквозь который протекала кровь из его неперевязанных ран, его принесли в суд, состоявший из рабовладельцев. Со спокойствием мученика за правду выслушал пленник свой смертный приговор. В Европе разнесся слух, что казнь отсрочена. Тогда снова на весь мир раздался голос Виктора Гюго, пытавшегося спасти жизнь приговоренного аболициониста; между прочим он говорит, что хотя не отнимает у натуралистов права рассуждать о том, было или нет несколько Адамов, но со своей стороны убежден, что существует один только отец, именно Создатель... Заключая отсюда, что все люди братья, он обращается к американским гражданам, как к братьям:

«Берегитесь, – восклицает он, – чтобы убийство Брауна не было с точки зрения политической непоправимой ошибкой, которая пошатнет американскую демократию.

С точки же зрения нравственной кажется, будто часть умственного света померкнет в человечестве, что затемнится понятие о справедливом и несправедливом в тот момент, когда «свобода» убьет «освобождение».

Далее он молит о помиловании Джона Брауна и заканчивает следующими словами: «Да, пусть Америка знает, пусть она поймет, что есть нечто более ужасное, чем убийство Авеля Каином, – именно – убийство Спартака Вашингтоном».

Северные Штаты взволновались: граждане собирали митинги, манифестации, молились в церквах, надеясь заставить этим южан пощадить Джона Брауна. Но Вирджиния осталась неумолимой, и умирающий пленник ее был повешен; к виселице его вел Уилкс Бут, впослед-

ствии убийца президента Линкольна. Виктор Гюго предложил следующую надгробную надпись для Джона Брауна: «Pro Christo, sicut Christus» («За Христа, как Христос»).

Не всегда следовали отказы на бесчисленные просьбы Виктора Гюго о помиловании.

Непрестанная борьба его за право человека на жизнь доставляла ему иногда глубоко отрадные впечатления. Когда в 1862 году Учредительное собрание Женевского кантона пересматривало свою конституцию и вотировало сохранение смертной казни, Виктор Гюго написал письмо женецам, и она была уничтожена, несмотря на сильную оппозицию католической партии. В 1865 году он поддерживал членов Центрального Итальянского комитета, учрежденного для отмены смертной казни.

В 1867 году он получил следующее письмо от одного португальского дворянина:

«...Гуманность одержала огромную победу. Учитель! Ваш голос, всегда раздающийся там, где нужно защищать великие принципы или осветить великую идею, – Ваш голос достиг и сюда; наши сердца услышали его, и великое дело совершилось: обе палаты нашего парламента вотировали отмену смертной казни».

Молодой король Луис Португальский подписал постановление об этом перед своей поездкой на парижскую Всемирную выставку.

В течение своей жизни Виктор Гюго собрал значительный материал для книги, которую хотел озаглавить «Дело о смертной казни» («Le Dossier de la peine de Mort»). Материал этот остается только расположить по порядку. Неуклонно следуя внушениям совести, поэт под конец жизни получал нравственное удовлетворение не только от своей борьбы против казней. Многие из его противников со временем становились его почитателями. Даже джерсейцы, когда-то изгнавшие его, не могли не отдать ему справедливости. Восемнадцатого июня 1860 года на всем острове замечалось необыкновенное оживление. Стены домов были покрыты афишами, где стояло: «Виктор Гюго прибыл». Жители упростили поэта приехать к ним и произнести речь в пользу подписки на сбор средств для Гарибальди, борющегося за освобождение Италии. Виктор Гюго согласился и в присутствии бесчисленной толпы народа сказал блестящую речь. Исполнение просьбы джерсейцев было единственным «мщением» его за свое изгнание с острова.

Семейная жизнь поэта оставалась покойной и счастливой, за исключением того горя, которое человеку приходится испытывать вследствие болезни близких или потери их.

В 1866 году старший сын поэта Шарль женился. В 1867 году Виктор Гюго был обрадован рождением внука, маленького Жоржа, вскоре, однако, умершего. Затем родился другой мальчик, которого также называли Жоржем. Этот не умер, но вырос и вместе с сестрой своей, Жанной, был гордостью и утехой деда.

Через некоторое время после свадьбы сына Виктор Гюго вместе с ним и друзьями совершил «увеселительное и артистическое» путешествие по Зеландии, рассказанное впоследствии Шарлем Гюго в книге «Виктор Гюго в Зеландии». Поэт восхищался и наслаждался этим путешествием, как юноша. Его все занимало: и виды, и нравы, и древняя архитектура городов. Там, где жители узнавали о его приезде, его встречали с необыкновенным радушием и таким восторгом, который под конец становился даже утомительным. Не было недостатка и в разных приключениях, как трогательных, так и комических.

Однажды утром в Лувье, в то время когда поэт работал в своей комнате, одна из дам, принимавших участие в путешествии, сошла в столовую и, увидев там прекрасные плоды, попросила слугу подать их к столу.

– Это не для вас! – отвечал тот с трагическим жестом и растерянным взглядом. Затем он спрятал плоды в буфет и прибавил: – Я должен пойти переговорить с господами путешественниками.

Думая, что он сошел с ума, дама поспешила предупредить об этом своих друзей. За ней в комнату поэта вбежал слуга и, раскрывая объятия, воскликнул:

– Это вы, не правда ли, вы именно – Виктор Гюго?

– Это зависит... – отвечал тот, отступая.

– Ах, сударь, – сказал бедняга, вдруг заливаясь слезами, – я ведь читал ваши стихи про милостыню, я знаю их наизусть... Плоды для вас.

По возвращении из Зеландии Виктор Гюго провел лето в Бельгии, где закончил часть начатых в изгнании работ. Из числа написанных им в изгнании вещей, за год перед этим, то есть в 1865 году, в печати появились «Уличные и лесные песни» («Chansons des rues et des bois»). Всякий, читавший стихи, не может не признать их поэтической свежести, а между тем имперские зоилы в угоду Наполеону III всеми силами старались доказать, что «Песни» эти значительно ниже остальных произведений поэта, что он, одним словом, «исписался». Мнение это было блестящим образом опровергнуто появившимися в 1866 году «Тружениками моря» («Les Travailleurs de la mer»). Вот в каких словах поэт объясняет цель этой книги: «Я хотел прославить труд, сильную волю, преданность – все, что делает человека великим».



Виктор Мари Гюго. 1880-е гг.
«Умереть – это ничего, ужасно – не жить»
(Виктор Гюго)

Говоря о «Тружениках моря», нельзя не указать на одну из сторон таланта Виктора Гюго, общую, впрочем, всем гениям. Это, помимо поразительной способности обобщения, его замечательная наблюдательность и умение правильно подмечать все подробности привлекающих его внимание явлений. Вот пример этого. В одной из своих бесед в Сорбонне в 1880 году президент парижского «Бюро долгот» («Bureau des longitudes») Фай (Faye) среди прочего говорил следующее:

«Древние и новые поэты любили описывать бури. Мы встречаем три подобных описания в „Одиссее“, одно в первой книге „Энеиды“, одно в „Луизиаде“ Камюэнса и одно в „Мучени-

ках“ Шатобриана. Кроме того, мы имеем замечательное описание бури в „Тружениках моря“ Виктора Гюго.

Лучше всего будет вспомнить эти превосходные описания (отбросив в сторону драматический элемент, то есть борьбу человека со стихиями), потому что всякий поэт, мы говорим о великих поэтах, есть зеркало, в котором отражаются не только чувства и страсти его эпохи, но также все идеи и научные взгляды ее. Наставники нашей молодости никогда не забывали обратить наше внимание на то, что Гомер правдив до мелочей, даже в анатомических описаниях; что Вергилий замечателен по глубине философских взглядов и по своему знакомству с природой; что Данте – во всех отношениях глубокий мыслитель; что Камюэнс сам совершил все описываемые им экспедиции, а Шатобриан изъездил все страны древнего мира. Что касается Виктора Гюго, то неизвестно, где он почерпнул свои знания; но очевидно, что в 1866 году он знал о бурях гораздо больше, нежели многие ученые метеорологи того времени».

Описав бури согласно различным авторам, Фай излагает аспириативную теорию бурь, объясняющую их происхождение местными причинами, и прибавляет:

«Эта теория так проста и так естественно вытекает из первых посылок, то есть из взгляда на бури, существующего уже три тысячи лет, что есть опасность принять ее за что-нибудь действительно серьезное. Но не следует составлять себе никакого мнения, не прочтя последнего описания бури, сделанного Виктором Гюго в 1866 году. Как у всех других авторов, мы и здесь встречаем человека в борьбе с разъяренными силами стихий. Для нас в настоящую минуту важна не драма, а то, что есть правдивого и реального в самом описании явления природы; пусть всякий сам рассудит, производит ли правдивое и реальное менее поэтическое впечатление, чем условное и предвзятое».

«Море было не только спокойно, – говорит Виктор Гюго, – оно было недвижно; небо, повсюду ясное, казалось не голубым, а белесоватым. Эта белесоватость производила странное впечатление. На западе, на самом горизонте, виднелось пятно какого-то неприятного вида; оно не меняло места, но постепенно росло, у прибрежных скал влага тихо дрожала. Джиллиат взобрался на высоту, с которой было видно все море. Запад был поразителен. Оттуда выходила стена; большая стена туч, которая, перерезывая пространство из конца в конец, медленно поднималась от горизонта к зениту. Эта стена туманов расширялась и росла, но верхний край ее оставался параллельным линии горизонта. Она поднималась вся сразу, молча. Солнце, совсем бледное из-за прозрачного, какого-то нездорового тумана, освещало эти апокалиптические очертания. Воздух был раскален. Небо, из голубого сделавшееся белым, из белого стало серым, точно громадная аспидная доска. Ни дуновения, ни волны, ни звука.

Вдруг солнце исчезло. Его захватила ползшая вверх туманная туча. Она теперь сморщилась, сложилась в складки, совсем переменяла вид. Молнии не было, разливался какой-то ужасный, зловещий, рассеянный свет.

Узкая, беловатая, поперечная тучка, неизвестно откуда взявшаяся, перерезывала наискось, от севера к югу, мрачную высокую стену туч; под ней очень низко маленькие тучки, совсем черные, металась из стороны в сторону. На востоке, за Джиллиатом, были словно ворота, сквозь которые виднелся клочок ясного неба, но и эти ворота грозили сейчас закрыться. Ветра не чувствовалось вовсе, а между тем вдруг пронеслась, неизвестно откуда взявшаяся, горсть какого-то растрепанного серого пуха, точно сейчас ощипали огромную птицу за этой стеной мрака. Предчувствовалось, что что-то близится.

Вдруг раздался ужасный, неслыханный, оглушающий раскат грома. Ни малейшая искра не осветила небес – то был черный гром. Снова наступила тишина, точно все хотело собраться с силами.

Потом одна за одной засияли громадные, бесформенные молнии. Эти молнии были немые».

Это пролог; вот и первое действие:

«Джиллиат вдруг почувствовал, что какое-то дуновение растрепало ему волосы. Три или четыре крупные капли дождя расплоснулись около него на скале. Потом снова раздался грохот. Ветер поднялся.

Это мгновение было ужасно. Ливень, ураган, зарница, молния, волны до туч, крики, рев, рокот, свист – все сразу. Все чудовищное сорвалось с цепи.

Ветер бушевал; дождь не шел, он рушился. Все, небо и океан, в тревоге ринулось на утес. Слышались голоса без числа – кто мог так кричать? По временам казалось – раздается команда. Потом опять крики, трубные звуки, странные трепетания, и сквозь все это – величественный гул, про который моряки говорят, что это „зов океана“!

Летучие неопределенные спирали ветра крутили морскую влагу; волны, превращенные этими круговоротами в диски, обрушивались на прибрежные скалы, как бы пущенные туда невидимыми атлетами. Пена заливала скалы. Местами было тихо; местами ветер мчался с быстротой двадцати туазов¹ в секунду. Море, куда ни взгляни, было белое, точно десять лье мыльной пены.

Вскоре ураган достиг пароксизма. Буря была до сих пор только страшна – теперь она стала ужасна. В такие минуты, говорят моряки, ветер все равно что бесноватый».

Этим заканчивается первое действие; перейдем теперь ко второму:

«Вдруг все просветлело, дождь перестал, тучи местами разорвались. На зените открылось словно окно в сумерки, и молнии потухли. В эту минуту в самой мрачной части тучи является, неизвестно зачем – может быть, чтобы поглядеть всеобщий переполох, – круг синего цвета, который старые испанские моряки называли „оком бури“ – el ojo de tempestad. Можно было ожидать конца, – это было новое начало. Ветер вдруг перескочил с юго-востока на северо-запад. Буря опять начиналась, ей помогало новое войско ураганов. Теперь север готовился к натиску; южный ветер наносит главным образом воду, гром и молнию. В это время в бурях происходит тот постоянный расход электричества, который Пидингтон называет „каскадом молний“.

Вдруг мимо Джиллиата пронеслось что-то белое и пропало во мраке. То была чайка. В бурю нет ничего приятнее такой встречи. Когда показываются птицы – буря уходит. Дождь сразу перестал. Потом послышался только ворчливый раскат в тучах. Гроза прекратилась мгновенно, точно провалилась куда-то. Тучи стали расползаться и исчезать. Щель ясного неба разогнала темноту. Джиллиат удивился – был уже день. Буря продолжалась двадцать часов.

Ветер приносивший – все и унес. Мрак рушился, загромождая горизонт. Разрозненные и беспорядочно уносящиеся туманы теснились тревожно; по всей линии туч шло отступление; послышался продолжительный утихающий гул; пало несколько последних дождевых капель, и весь этот полный грома мрак удалился, как шумное собрание грозных колесниц. Небо внезапно сделалось голубым».

«Нужно сознаться, – говорит Фай, – что если принять аспиративную теорию метеорологов, то настоящее описание бури показалось бы нам ничему не соответствующим – ни теории, ни описаниям Гомера и Вергилия, Камоэнса и Шатобриана. Буря Гюго не образовалась на месте; автор описывает нам ее как нечто наступающее, приносящееся издалека; она не на месте и не прекращается, а мчится дальше, разрушая все на пути своем. По идее автора, это что-то идущее мимо. Далее, нам ничего не говорят о четырех ветрах, дующих одновременно от четырех стран света. В первом действии бури бушует один только ветер – юго-восточный, во втором тоже один – северо-западный. Но достаточно и этого, чтобы понять, сколько противоречий у Виктора Гюго с древними авторами. Чем же это объяснить? Да тем, что бури, описанные у древних, а также у Камоэнса и Шатобриана, бушевали и возникали только в воображении авторов, точно так же, как и построенные на этих данных теории. Одно описание Виктора Гюго

¹ Туаз – шестифутовая сажень.

точно. Все, что он говорит, оправдывается для наблюдателя, находящегося за 40-м градусом северной широты и стоящего приблизительно на линии, по которой несется центр бури. Бури – не простые случайности, они не скоро проходящие расстройства или болезни атмосферы, нет – они имеют законы, подобно светилам, и повинуются им с совершенной покорностью».

Итак, Виктор Гюго силой творческого гения прозревал мировые законы, о существовании которых в то время не помышляли даже те, кому о них главным образом и надлежало ведать.

После этого нам станет еще более понятным то обаяние, которое произведения его имели уже в течение полувека и будут вечно иметь для читающих масс.

Через три года после «Тружеников моря», в 1869 году, появился «Человек, который смеется» («L'homme qui rit»), имевший всемирный успех. Раньше него вышла статья, посвященная Шекспиру и написанная по поводу перевода сочинений этого писателя, сделанного вторым сыном поэта, Франсуа-Виктором Гюго.

В 1867 году в Париже была устроена Всемирная выставка. По этому случаю лучшие представители французской литературы издали сборник под названием «Paris guide» («Путеводитель»). Виктор Гюго составил для него блестящее предисловие. В это же время на сцене парижских театров снова появились его драмы: «Эрнани» во «Французской комедии» и «Рюи Блаз» – в «Одеоне». Несмотря на изгнание и опалу автора, министр изящных искусств доложил Наполеону III, что съехавшиеся на выставку представители европейской интеллигенции могут удивиться упадку французской драматической литературы, если на сценах больших театров им придется видеть только вещи посредственные, а на второстепенных – прекрасные декорации для глупых и безнравственных фарсов. Наполеон III сдался на просьбы своего министра и разрешил постановку некоторых из драм Виктора Гюго. Успех их был громадным. Молодые поэты Франции написали автору коллективное письмо, где выражали все свое сожаление по поводу его отсутствия; письмо это подписано именами лучших литературных сил страны. Энтузиазм публики испугал империю; к тому же в печати появилась новая поэма Виктора Гюго «Голос с Гернсея», где поэт осуждает папу и Наполеона III за угнетение Италии и за борьбу с Гарибальди. «Эрнани» был опять запрещен. Впоследствии, и то с большим трудом, дирекция театра «Порт С.-Мартен» добилась позволения поставить на сцене «Лукрецию Борджиа». По поводу представления этой драмы Жорж Санд написала автору горячее письмо, где говорила о восторге зрителей и громких криках их: «Да здравствует Виктор Гюго!»

Как ни скорбел стареющий поэт вдали от родины, как ни хотелось ему вернуться в отечество, тем не менее он не считал возможным воспользоваться амнистиями, провозглашенными империей в 1859 и 1869 годах. Он не признавал за Наполеоном III права прощать людей, ни в чем не виновных.

В 1868 году умерла г-жа Гюго. Это было тяжелым ударом для всей семьи и в особенности для самого поэта.

Глава V

Падение империи. – Возвращение поэта на родину. – Жизнь и деятельность В. Гюго во время осады Парижа. – Избрание поэта в палату депутатов, – Смерть Шарля Гюго. – Отъезд поэта в Брюссель. – Высылка из Брюсселя. – Смерть Франсуа Гюго. – Литературная деятельность поэта в этот период его жизни. – Избрание в сенат. – Деятельность В. Гюго как сенатора. – Отношение его к натуралистической литературной школе. – Религиозные взгляды В. Гюго. – Пятидесятилетний юбилей «Эрнани». – Чествование поэта при вступлении его в восьмидесятый год жизни. – Кончина Виктора Гюго.

Несмотря на строгость, с которой империя преследовала всякий протест, всякое враждебное ей настроение в народонаселении, она тем не менее к концу шестидесятых годов была расшатана. Ей наносились удары со всех сторон. Газета «Rappel», где сотрудничали сыновья и друзья Виктора Гюго, протестовала при каждом удобном случае против реакционных мер; Рошфор со своим «Фонарем» поднимал наполеонидов на смех, а смех во Франции – орудие смертоносное. Империя рухнула.

Только тогда Виктор Гюго вернулся во Францию. Он действительно сдержал слово, данное в стихе:

И если останется только один – то я буду этим одним!

При въезде во Францию возвращающийся изгнанник был тяжело поражен встречей с отступающей французской армией – раненые беглецы, умирающие от утомления и голода, протягивали руку с мольбой о куске хлеба. При виде этого престарелый поэт зарыдал: он скупил весь хлеб, который можно было найти, и приказал раздать его солдатам.

Известный французский писатель Жюль Кларети сопровождал Виктора Гюго. Вот что он говорит об этом печальном возвращении:

«В понедельник, 5 сентября 1870 года, на другой день после падения империи, Виктор Гюго, находившийся тогда в Брюсселе, подошел к железнодорожной кассе, где продавались билеты во Францию, и спросил голосом, невольно дрожавшим от волнения: „Билет в Париж“.

Я так и вижу его... в мягкой войлочной шляпе, с кожаной сумкой на ремне, надетом через плечо; он был бледен и взволнован и, подходя к кассе, невольно взглянул на часы; казалось, что ему хочется самым точным образом знать минуту, в которую оканчивалось его изгнание.

Столько лет – девятнадцать лет прошло с того дня, когда ему пришлось покинуть этот Париж, покоренный его гением, и все, что составляло его жизнь: жилище, к которому он привык, любимые книги, мебель, картины и даже шесть едва просохших листков с последними стихами.

Теперь все кончилось. Теперь не месяцами, а минутами нужно было считать время, отделявшее его от того мгновения, когда он будет в состоянии воскликнуть: „Вот Франция!“

Друзья провожали Виктора Гюго, возвращавшегося на родину... Поезд тронулся. Поэт сидел против меня и Антонена Пруста и смотрел в окно, ожидая той минуты, когда переедут границу, и он увидит деревья, луга, землю, воздух и небо родины. Я никогда не забуду потрясающего впечатления, произведенного на этого шестидесятивосьмилетнего старика, поседевшего в изгнании, видом первого французского солдата.

Это было в Ландреси. Полки корпуса Винуа отступали от Мезьера к Парижу: бедняки-солдаты, усталые, пыльные, все в грязи, бледные, уныло сидели или лежали на земле вдоль полотна железной дороги. Они уходили от наступающих немецких войск и старались

приблизиться к Парижу, чтобы, в свою очередь, не пасть жертвой бедствия, сделавшего под Седаном последнюю французскую армию добычей прусских цитаделей.

В их глазах можно было прочесть поражение; весь их внешний вид говорил о тяжелом нравственном утомлении; молчаливые, оцепеневшие, разбитые, они напоминали обломки камней, увлекаемые после грозы потоками дождевой воды по горным дорогам. Но все же это были солдаты нашей Франции, на них был родной любимый мундир... Они уносили с собой в целостности трехцветные знамена, они спасли их среди всего этого крушения. Крупные слезы сразу навернулись на печальных глазах Виктора Гюго.

Высунувшись из окна вагона, старик крикнул, точно вне себя, громким и в то же время дрожащим голосом:

– Да здравствует Франция! Да здравствует армия! Да здравствует отечество!

Солдаты, подавленные усталостью, смотрели на поезд с убитым и тупым видом, не понимая.

Он продолжал кричать им ободрения:

– Нет, нет, это не ваша вина, вы исполняли свой долг!..

И когда поезд двинулся, слезы, одна за другой, медленно потекли по его щекам, теряясь в седой бороде...

В Тернье – другое воспоминание, которым я горжусь: Виктор Гюго в первый раз пообедал во Франции. О приезде его уже знали; буфетная зала была полна любопытных, теснившихся кругом.

– Вам не нужно паспорта! – сказал, кланяясь поэту, полицейский комиссар.

Мы вошли в буфет: почти ничего не было. Закусили хлебом, сыром и вином, вот и все. Я упросил Виктора Гюго сделать мне честь и принять от меня этот первый обед свой на родине. Он согласился, и я видел, как он с волнением сунул в карман кусочек того хлеба, которым насытился в первый раз в обретенном снова отечестве.

– Он все еще у меня, ваш кусочек хлеба, – иногда говорил он с умилением впоследствии, вспоминая свою скромную трапезу.

Он действительно навсегда сохранил этот кусок хлеба из Тернье. Больше он в тот день почти ничего не ел, он был слишком взволнован.

Мы опять сели в вагон. До самого Парижа Виктор Гюго сидел молча, погруженный в свои думы. Ночь мало-помалу спускалась на проезжаемые нами местности.

– Я хотел бы, – вдруг произнес поэт, – вернуться один, как неизвестный путник, в город, которому угрожает враг...

На северном дебаркадере Поль Мерис, Вакери, Франсуа Гюго – Шарль был с нами – бросились к нам навстречу, крича:

– Да здравствует Виктор Гюго! Да здравствует Виктор Гюго!

– Господа, тише, прошу вас, – сказал один из главных хирургов, – у нас здесь раненые. – И он указал на санитарные вагоны, откуда кровь сочилась на рельсы.

Виктор Гюго сделал знак. Замолчали. Перед вокзалом огромная толпа ждала его. Его увидели, приветствовали громкими кликами, подхватили... И я слежу взором в тени Парижа и среди бесчисленного стечения народа за этим стариком, который, верный своей клятве, протестовал до конца против попрания права».



«Осада Парижа». Художник – Жан-Луи-Эрнест Месонье. Осада Парижа – осада французской столицы Парижа прусскими войсками в ходе франко-прусской войны, продолжавшаяся в период с 19 сентября 1870 по 28 января 1871 года. В этой военной операции было задействовано 590 000 солдат, и она является самой крупной за всю историю XIX века.

«Мир – добродетель цивилизации, война – ее преступление»
(Виктор Гюго)

Через несколько дней после приезда поэта немецкая армия подступила к Парижу. Виктор Гюго написал по-французски и по-немецки воззвание к пруссакам. Он уговаривал их прекратить эту войну, начатую Наполеоном; он напоминал, что между обоими народами не существовало вражды... «Подумайте раньше, чем показать миру такое зрелище... Немцев, превратившихся в вандалов... варварство, губящее цивилизацию... Знаете, чем была бы для вас эта победа – бесчестием!»

Немецкая пресса ответила криками гнева. Один немецкий журнал напечатал: «Повесьте поэта на мачте».

Тогда Виктор Гюго написал горячее воззвание к французам, призывая их к обороне отечества. Его просили проехать по всей Франции и говорить народу речи в этом смысле, но он раньше обещал разделить судьбу осажденных парижан и потому остался.

Когда начались волнения Коммуны, Виктор Гюго не переставал уговаривать парижан прекратить раздоры ввиду заполонивших отечество врагов. Его голоса не послушали.

В октябре 1870 года появилось парижское издание книги «Les Châtiments» («Кара»), в первый раз доставившей поэту пятьсот франков авторского гонорара. Он тотчас внес эти деньги в фонд, собранный по подписке на покупку пушек. В то же время французское общество литераторов придумало устроить чтения, на которых лучшие артисты парижских театров должны были декламировать стихи из «Châtiments» – книги, возвратившейся во Францию вместе с республикой. Виктор Гюго, бывший председателем общества, согласился с условием,

чтобы и этот сбор употребили на отливку пушки. Ей хотели дать его имя, но он просил назвать ее «Шатоден», в память небольшого городка, геройски защищавшегося и вызвавшего восторг и удивление всей Европы. Первый сбор равнялся 7550 франкам. Парижане просили еще нескольких чтений. Одно из них было устроено бесплатно, для народа. В антрактах артисты собирали добровольные пожертвования в прусские каски. Под конец на сцену бросили позолоченный лавровый венок с надписью: «Нашему поэту, пожелавшему даровать беднякам мир духа».

В общем, состоялось три чтения, давшие более десяти тысяч франков. Комитет литераторов решил, что на эти деньги отольют две пушки – и назовут одну «Шатоден», а другую – «Виктор Гюго»; под выгравированными именами прибавили надпись: «От общества литераторов».

Дориан, министр общественных работ, изъявил на все полное свое согласие. Обе пушки стоили около семи тысяч франков. Остаток собранной суммы был употреблен на вспомоществование литераторам, пострадавшим от войны.

Дальнейшая сумма в 6 тысяч франков, полученная от представлений во французском театре, где давали отрывки из различных произведений Виктора Гюго, была употреблена на устройство перевязочных пунктов.

Вообще, все произведения поэта сделались во время осады как бы народным достоянием, и все сборы от них шли на улучшение положения голодных, раненых, больных и на вооружение войск.

Виктор Гюго в осажденном немцами Париже терпел всякие лишения наравне с остальными жителями. Он иногда приглашал обедать к себе друзей, министров и членов правительства народной обороны.

– Приходите обедать ко мне завтра: я для вас устрою пир, – говорил он.

Понятно, каков мог быть этот пир. Подавали мясо всевозможных животных: лошадей, собак, крыс, кошек, – превращая желудки, как говорили шутники, в Ноев ковчег. Несмотря на лишения, поэт оставался бодр и весел в присутствии друзей и близких, стараясь поддержать бодрость духа и в них. Но вечером и ночью, печальный и лишенный сна, он долго бродил по осажденному городу и обдумывал свой «Ужасный год» («L'année terrible»).

До конца жизни у него на глазах навертывались слезы при воспоминании о бедствиях родного города и о мужестве его защитников.

Нужно прибавить, что, едва водворившись на родине, Виктор Гюго тотчас записался в Национальную гвардию. По окончании осады он был выбран депутатом, но недолго сохранял свое место в палате. Он не хотел заключения мира, не хотел соглашаться на уступку Эльзаса и Лотарингии, требовал, чтобы представители этих провинций сохранили свои места в парламенте, и находил необходимым избрать Гарибальди почетным членом палаты депутатов. Ему было во всем отказано и на него снова начали нападать. Какой-то депутат, де Лоржериль, объявил ему, что он не знает по-французски. Другой, священник Жаффре, крикнул: «Смерть Виктору Гюго». В это время скоропостижно умер старший сын поэта, Шарль, и опечаленный всеми этими невзгодами отец уехал в Брюссель. Коммуну он осуждал. Но когда она была подавлена, он первый открыл двери своего дома изгнанным коммунарам. Реакция, однако, не удовлетворилась высказанным поэтом неодобрением, она требовала большего, и бельгийскому королю Леопольду, сыну, было предъявлено такое же требование, как и его отцу, – изгнать Виктора Гюго. Поэт был выслан из Брюсселя. Он поехал путешествовать по Люксембургу. В Париже в это время лубочный писатель Ксавье де Монтепен предлагал Обществу французских литераторов исключить из своей среды Виктора Гюго. В 1851 году то же самое предлагал некто Гаранкур, давно позабытый теперь всеми. Общество литераторов дало Ксавье де Монтепену наилучший ответ – оно ему ничего не ответило.

Виктор Гюго между тем путешествовал и обрабатывал «Ужасный год» («L'année terrible»), представляющий как бы продолжение «Кары» («Les Châtiments»). В это время он потерял второго сына.

Французский народ, однако, не забывал своего любимого поэта. Ему снова предложили выдвинуть свою кандидатуру в палату, но, по неожиданному стечению обстоятельств, он потерпел неудачу на выборах. Чтобы закончить с его политической деятельностью, нужно упомянуть, что он был избран в сенат. Он тотчас потребовал амнистии, но его опять не послушали.

«Девяносто третий год» («Quatre vingt treize»), последний написанный Виктором Гюго роман, появился в печати в 1874 году и тотчас был переведен на несколько иностранных языков. Критика отнеслась к нему с восторгом, хотя, по обычаю, послышались и враждебные голоса.

В 1877 году вышла вторая часть «Легенды веков» – ряд превосходных эпоей и идиллий. В это время Виктор Гюго уже возвратился в Париж и поселился на улице Клиши, в доме, отстоявшем очень недалеко от бывшего помещения школы, где он когда-то учился читать.

Вернувшись в родной город, Виктор Гюго занял свое место в сенате. Вот как проводил он день: вставая с рассветом, он писал часов до двенадцати, иногда до двух, всегда стоя у конторки. После скромного завтрака он отправлялся в сенат; там, пока его товарищи занимались более или менее интересными разговорами, он писал свои письма. Отдыхом от сенатского заседания ему служила прогулка пешком или поездка на империале омнибуса; он любил иногда затеряться таким образом среди глубоко симпатичного ему парижского рабочего люда. В восемь часов вечера он был дома; в это время подавался обед, к которому всегда был приглашен кто-нибудь из друзей. Семья поэта увеличилась тем, что, после нескольких лет вдовства, жена Шарля Гюго вышла за Локруа, известного парижского депутата.

Садясь за стол, Виктор Гюго преображался; это был уже не поэт, не могучий оратор, это был милейший и веселый хозяин дома, сам обедавший с аппетитом здорового и трудящегося человека и не забывавший угощать своих гостей; при этом он не переставал шутить, смеяться и рассказывать остроумные анекдоты. В десять часов общество переходило в гостиную; сюда прибывали один за другим новые посетители: депутаты, художники, литераторы. Разговор становился общим, всякий принимал в нем живое участие, и маститый поэт-хозяин своей простотой в обращении, тонким добродушием и любезностью умел ободрить и развеселить каждого. Мало кто из людей, знавших Виктора Гюго только по его произведениям и деятельности, не испытывал известного смущения, будучи представлен ему в первый раз. Рассказывают, что в 1877 году бразильский император дон Педро посетил его и, входя, обратился к нему со следующими словами:

– Ободрите меня, г-н Виктор Гюго, я несколько смущаюсь.

И это было сказано с полной искренностью.

До последних дней своей жизни Виктор Гюго был бодр, крепок, весел и деятелен.

Интересно отношение его к современной натуралистической литературной школе. Вот что рассказывает по этому поводу автор книги «Виктор Гюго и его время» Альфред Барбу.

«Зачем, – говорил поэт, – зачем унижать искусство и делать это добровольно... разве для того, чтобы высказывать правду? Но возвышенные идеи не менее правдивы, – и, что касается меня, то я их предпочитаю. Разберите следующий простой пример. Шекспир в „Венецианском купце“ заставляет Шейлока сказать, говоря о евреях и христианах: „Они живут, как мы, а мы умрем, как они“.

Вот действительность в ее простейшем выражении; я, однако, могу ее идеализировать, не уничтожая ее реальности и правдивости. Я скажу:

„Они чувствуют, как мы, а мы думаем, как они. Они страдают, как мы, а мы любим, как они“.

Но вообразим себе нисходящую гамму, тогда мы скажем:

„Они спят, как мы, а мы ходим, как они. Они кашляют, как мы, а мы плюем, как они. Они едят, как мы, а мы пьем, как они“.

Продолжайте сами... Вы не кончаете, вы не можете дойти до конца. Но придет другой, который этого не побоится, – а более храбрый пойдет, может быть, еще дальше. Все это пока только неопратно, за неопратностью же последует непристойность, и я вперед вижу пропасть, глубину которой не берусь измерить.

То же самое мы видим в деле искусства. Курбе – человек с большим талантом и не лишенный ума (есть художники ограниченные), – Курбе говорил мне однажды: „Я написал стену настоящую, совсем настоящую. Я столько же употребил труда на это, сколько Гомер на описание Ахиллесова щита, – и, по чести, моя стена стоит его щита, которому еще очень многого недостает“.

– И тем не менее я предпочитаю Ахиллесов щит, – сказал я ему. – Во-первых, он красивее вашей стены, а во-вторых, и у вашей стены кое-чего недостает.

– Чего же?

– Того, что часто находят вдоль стен и что другой когда-нибудь и поместит туда, чтобы быть еще более реалистом, чем вы».

«Вот почему, – продолжал Виктор Гюго, – я нахожу произведения натуралистические вредными и дурными».

Собеседник поэта Барбу заметил, между прочим, что полезно представлять страшные картины развращения, вносимого пьянством в рабочую среду.

«Это правда, – отвечал Виктор Гюго, – но тем не менее такая книга нехороша. Она точно с наслаждением рисует безобразные язвы нищеты и унижения, до которых доведен бедняк. Враждебные народу классы наслаждаются этими картинами. „Вот каков рабочий!“ – говорят они. Такие книги имеют успех именно среди этих классов... Есть картины, которых писать не следует. Пусть мне не возражают, что все это правдиво, что оно так и происходит. Я это знаю, я изучал все эти горькие беды, но я не хочу, чтобы их отдавали на позорище. Вы не имеете права на это, вы не имеете права „обнажать несчастье“».

Нужно прибавить, что, нападая на натурализм и бичуя некоторые книги и их тенденции, Виктор Гюго тем не менее восхищался талантливыми писателями, к какой бы школе они ни принадлежали, несмотря на то, что за последние годы критика, благосклонная к натурализму, снова пыталась унижить его. Говоря о реалисте Гюставе Флобере, которому в это время воздвигали памятник, вот как характеризовал его Виктор Гюго: «Все высшие страсти и ни одной страсти низшей – вот чем был Флобер, это великое сердце, этот благородный ум».

С другой стороны, Бальзак, неоспоримый родоначальник новейшей литературной школы, выражался следующим образом о Викторе Гюго: «Виктор Гюго – это целый мир!»

За несколько месяцев до появления второй части «Легенды веков», в 1877 году, вышло «Искусство быть дедушкой», нечто вроде продолжения «Книги для матерей» или «Книги для детей», которую издатель Гетцель составил из всего, что относилось сюда в сочинениях поэта.

По поводу «Искусства быть дедушкой» на Виктора Гюго напали прежде всего за заглавие. Ему объявили, что быть дедом вовсе не есть искусство. Он, улыбаясь, соглашался. Затем его стали бранить за то, что он недостаточно бранит детей, и вообще слишком снисходителен к ним. Он отвечал: «Сознаюсь и в этом – не мое дело быть строгим. Эти розы имеют шипы, говорите вы... уничтожайте шипы, я же вдыхаю запах роз».

Отцу приходится учить, исправлять, наказывать, но дед-поэт учит только одному: любить, любить «слишком». Книга его полна прелестных вещей. Он обожает своих внуков Жоржа и Жанну.

Что за сказки он им рассказывает: о доброй блохе и злом короле, о преданной собаке, об осле с ушами, которые длиннее, чем у других ослов, причем одно слышит всегда «нет», когда другое слышит «да», вследствие чего бедный осел вечно колеблется между добром и злом.

Забывая всю свою славу, маститый поэт принимает участие в детских играх, устраивает кукольные праздники, делает внукам игрушки, рисует им чудесные картинки и, к вящему ужасу строгих педагогов, забирается в хозяйственное святилище, кладовую, и собственноручно таскает оттуда потихоньку варенье для своих любимцев.

Жорж и Жанна, будучи еще совсем маленькими детьми, обыкновенно являлись в гостиную за некоторое время до обеда в сопровождении кота – Гавроша – и собаки. Начинались всевозможные шалости: дети влезали на колени деда, таскали его за волосы и за бороду, целовали.

– Видишь, – говорил иногда Виктор Гюго которому-нибудь из сидящих у него на коленях внучат, – дедушка все-таки хоть на что-нибудь да годится: на него можно сесть.

Он никогда не наказывал детей. Жанну, в виде возмездия за какой-то проступок, заперли раз в отдельную комнату, а дедушка потихоньку отнес ей туда лакомства. Он вообще любил всех детей, и знакомые, по его просьбе, часто приводили ему свой маленький люд. Однажды один литератор привел ему своего восьмилетнего сына. Он много раз уже говорил мальчику о том, как велика честь быть принятым у гениального поэта, и так напугал его, что, придя к Виктору Гюго, бедный ребенок, весь растерянный и красный, сидел на кончике стула, вытянувшись в струнку и чуть дыша.

Вдруг хозяин обратился к отцу мальчика:

– Послушайте, мой милый, – ваш сын, наверно, болен!

– Нет, уверяю вас, – отвечал донельза удивленный гость.

– Да как же! Он здесь уже с полчаса и еще ничего не сломал.

Но рядом с нежной и снисходительной любовью к маленьким детям в поэте уживалась горячая ненависть к людской низости. Так, он не мог простить предательство критика С.-Бева или эгоизм и неблагодарность писателя Мериме:

– Этот человек, – восклицал он, подразумевая Мериме, – оставил по себе позорную память; несмотря на весь свой талант, это был пошляк, обзывавший витиеватостью все то, чего не в силах была постичь безусловная черствость его сердца.

Под влиянием чувства ненависти ко всякой низости и несправедливости была написана Виктором Гюго «История одного преступления».

Что касается религиозных убеждений поэта, то он всегда и везде высказывал незыблемую веру в Бога. «Верить в Бога, – говорит он, – это значит верить во все: в бесконечное, в бессмертие души»... В этом духе написаны: «Папа», «Высшее милосердие», «Религии и Религия». В «Осле», произведении философском, он нападает на педантизм лжеученых, плохих педагогов, умственно и нравственно калечащих юношество. Здесь поэт превращается в едкого сатирика.

Несмотря на всю славу Виктора Гюго, на всю любовь родной страны к нему, даже республиканское правительство еще запрещало постановку его драм на сцене. Наконец, в ноябре 1877 года, был дан «Эрнани», причем Сара Бернар играла роль, некогда исполняемую г-жой Марс. После сотого представления автор, по обычаю, устроил обед, на котором собралось около двухсот человек критиков, литераторов и артистов. Потом были даны «Рюи Блаз» и другие драмы. Двадцать пятого февраля 1880 года во «Французской комедии» праздновали пятидесятилетний юбилей «Эрнани». Франсуа Коппе, один из лучших современных поэтов Франции, написал по этому поводу стихотворение, которое было прочитано после представления Сарой Бернар. При этом на сцене появился бюст Виктора Гюго. Публика и артисты приветствовали его восторженными криками: «Ad multos annos», «Многая лета». Через несколько дней пресса, со своей стороны, устроила чествование поэта, на котором было сказано множество приветственных речей. Виктор Гюго в своем ответе превозносил честность французской прессы и указывал на ее значение в деле умственного прогресса современной Европы. Двадцать седьмого декабря того же года поэта чествовали в Безансоне – городе, где он родился. В этом торжестве принимали участие представители французского правительства. В стену дома, где появился на свет

Виктор Гюго, была вделана бронзовая доска с рельефными украшениями. На ней поставлено число и год рождения поэта. Он лично не присутствовал на безансонском торжестве.

Несмотря на свою глубокую старость, Виктор Гюго все продолжал работать. Интересен способ и его манера писать. Прежде он для своих черновых употреблял все, что ему попадалось под руку: клочки бумаги, визитные карточки, театральные афиши, счета... Но с 1840 года он привык пользоваться бумагой известного формата, которую покупал, а вовсе не получал в дар от щедрого торговца, как рассказывали в публике. Он всегда, по старой привычке, писал гусиными перьями, крупно и четко, иногда без всяких помарок. Все его прекрасно переплетенные рукописи оставлены им по завещанию Национальной библиотеке. За самые последние годы жизни он издал «Торквемаду», «Четыре веяния духа» («Les quatre vents de l'esprit»), третью часть «Легенды веков» и две комедии в стихах. Многие рукописи украшены рисунками. Вообще, он прекрасно рисовал: друзья его даже издали целый альбом его рисунков. Близким лицам он часто дарил на память произведения своего карандаша, очень талантливые, по отзыву знатоков.

Относительно мировоззрения Виктора Гюго под конец его жизни можно сказать, что оно выразилось вполне не только в его последних сочинениях, но и в деятельности его как сенатора. Получив это звание в 1877 году, он тотчас примкнул к крайней левой партии и в своих речах всегда стоял за амнистию, старался принести наивозможную пользу рабочему сословию, ратовал против всяких войн и приветствовал будущий, двадцатый век как эру мира и труда.

Вот что он, между прочим, говорит: «Ничто не бесполезно. Опуская глаза, мы видим, что насекомое копошится в траве; поднимая голову, мы созерцаем сияние звезд небесных. Что они делают? Одно и то же. Трудятся. Насекомое трудится на земле, звезда – на небе; бесконечное пространство разделяет и связывает их. Все – есть бесконечность. Как же этот закон может не быть законом для человека? Он точно так же подчинен мировой силе; он вдвойне подчинен ей: телом и духом. Рука его лепит глину, душа – обнимает небо; он персть, как насекомое, и часть бесконечности, как звезда. Он трудится и мыслит. Труд – это жизнь; мысль – это свет... Будем любить тех, кто нас любит, и тех, кто нас не любит. Научимся желать добра всем. Тогда все изменится и нам откроется истина».

Двадцать седьмого февраля 1881 года Франция праздновала вступление своего поэта в восьмидесятый год жизни. Париж разукрасился, как для народного торжества. Люди съехались сюда не только из всех отечественных городов, но со всей Европы. Накануне, то есть двадцать шестого числа, Глава совета министров Жюль Ферри явился к маститому поэту со своим секретарем, чтобы поздравить его и поднести ему, от имени правительства Франции, драгоценную вазу из севрского фарфора. От себя он прибавил: «Как министр народного просвещения я тоже подумал о том, что могло вам быть всего приятнее. Вы всю вашу жизнь были апостолом милосердия, – я пожелал быть во имя вас милосердным и распорядился, чтобы на сегодня были отменены все наказания в лицах, коллегиях и школах Франции и Алжира».

Праздник, в собственном смысле, был назначен на следующий день. Архитектор города Парижа разукрасил дом поэта сверху донизу цветами, которые почитатели его присылали отовсюду. До пятисот тысяч человек прошло процессией мимо этого дома. Всевозможные депутации подносили поэту венки с надписями и поздравительные адреса. Раньше всех явилась депутация маленьких девочек. Они несли голубое и розовое знамя с надписью: «Искусству быть дедом». Их ввели в гостиную. Виктор Гюго расцеловал за всех самую маленькую. Затем та, что несла голубое и розовое знамя, проговорила стихи Катулла Мендеса, написанные для настоящего торжества:

Мы, маленькие зяблики,
Мы, шаловливо порхающие малиновки,
Собрались петь песенки

Орлу.
Он страшен! Но очень смирен,
И, не возбуждая его гнева,
Можно спрятать головку
Под его перо.

Виктор Гюго был растроган до слез.

– Я счастлив, – говорил он, – очень счастлив!

Депутации муниципального совета поэт сказал следующее: «Приветствую Париж! Приветствую громадный город, приветствую его не от себя, потому что я – ничто, но от имени всего, что живет, рассуждает, мыслит, любит и надеется на земле»...

Толпа кричала: «Да здравствует Виктор Гюго! Да здравствует поэт!»

Можно по справедливости сказать, что еще ни одного человека при его жизни не чествовали так восторженно, как Виктора Гюго, и Теодор де Банвиль был прав, говоря: «Он при жизни удостоился бессмертия!»

Прошло не более четырех лет, и та же толпа, старый и малый, ученый и безграмотный, богач и бедняк, точно на богомолье шли поклониться бездыханному телу поэта, которое родная страна его почла за честь схоронить за свой счет. В завещании своем Виктор Гюго просил, чтобы его предали земле так, как это делается для бедняков, – в сосновом гробу. Просьба его была уважена: его свезли в Пантеон на той же убогой колеснице, на которой отвозят на последний покой униженных и оскорбленных, которых он защищал в течение всей своей жизни. Из своего пятимиллионного состояния, заработанного литературным трудом, он оставил около полутора миллионов бедным. Один миллион завещан на устройство приюта для нищих детей.

Был чудный солнечный день, когда более 600 тысяч человек провожали почившего поэта в его последнее жилище. Всем жителям его родного города хотелось отдать ему последний долг, но многим мешали недосуг или нездоровье. До них, в открытые окна, теплый весенний ветер доносил скорбно-торжественные звуки бетховенского похоронного марша. Время от времени глухо перекатывался гром пушечного залпа. Все дома Парижа были украшены траурными, обвитыми крепом, знаменами. И таким образом Франция хоронила не героя-завоевателя, вносившего повсюду разрушение и смерть, а старца-поэта, всю жизнь стремившегося к тому, чтобы «царствовали на земле мир и в человецех благоволение».

А. Н. Паевская-Луканина

Предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»

«Le laid, c'est le beau»² – вот формула, под которую лет тридцать тому назад самодовольная ратина думала подвести мысль о направлении таланта Виктора Гюго, ложно поняв и ложно передав публике то, что сам Виктор Гюго писал для истолкования своей мысли. Надо признаться, впрочем, что он и сам был виноват в насмешках врагов своих, потому что оправдывался очень темно и заносчиво и истолковывал себя довольно бестолково. И однако ж нападки и насмешки давно исчезли, а имя Виктора Гюго не умирает, и недавно, с лишком тридцать лет спустя после появления его романа «Notre Dame de Paris»³, явились «Les Misérables»⁴, роман, в котором великий поэт и гражданин выказал столько таланта, выразил основную мысль своей поэзии в такой художественной полноте, что весь свет облетело его произведение, все прочли его, и чарующее впечатление романа полное и всеобщее. Давно уже догадались, что не глупой карикатурной формулой, приведенной нами выше, характеризуется мысль Виктора Гюго. Его мысль есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия, и этой мысли Виктор Гюго как художник был чуть ли не первым провозвестником. Это мысль христианская и высоконравственная, формула ее – восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль – оправдание униженных и всеми отринутых парий общества. Конечно, аллегория немислима в таком художественном произведении, как, например, «Notre Dame de Paris». Но кому не придет в голову, что Квазимодо есть олицетворение пригнетенного и презираемого средневекового народа французского, глухого и обезображенного, одаренного только страшной физической силой, но в котором просыпается наконец любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и сознание своей правды и еще непочатых, бесконечных сил своих.

Виктор Гюго чуть ли не главный провозвестник этой идеи «восстановления» в литературе нашего века. По крайней мере он первый заявил эту идею с такой художественной силой в искусстве. Конечно, она не есть изобретение одного Виктора Гюго; напротив, по убеждению нашему, она есть неотъемлемая принадлежность и, может быть, историческая необходимость девятнадцатого столетия, хотя, впрочем, принято обвинять наше столетие, что оно после великих образцов прошлого времени не внесло ничего нового в литературу и в искусство. Это глубоко несправедливо. Проследите все европейские литературы нашего века, и вы увидите во всех следы той же идеи, и, может быть, хоть к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно, в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и вековечно, как, например, «Божественная комедия» выразила свою эпоху средневековых католических верований и идеалов.

Виктор Гюго, бесспорно, сильнейший талант, явившийся в девятнадцатом столетии во Франции. Идея его пошла в ход; даже форма теперешнего романа французского чуть ли не принадлежит ему одному. Даже его огромные недостатки повторились чуть ли не у всех последующих французских романистов. Теперь, при всеобщем, почти всемирном успехе «Les Misérables», нам пришло в голову, что роман «Notre Dame de Paris» по каким-то причинам не переведен еще на русский язык, на котором уже так много переведено европейского. Слова нет, что его все прочли на французском языке у нас и прежде; но, во-первых, рассудили мы, прочли

² Безобразное тоже прекрасное (фр.).

³ «Собор Парижской Богоматери» (фр.).

⁴ «Отверженные» (фр.).

только знавшие французский язык, во-вторых – едва ли прочли и все знавшие по-французски, в-третьих – прочли очень давно, а в-четвертых – и прежде-то, и тридцать-то лет назад, масса публики, читающей по-французски, была очень невелика сравнительно с теми, которые и рады бы читать, да по-французски не умели. А теперь масса читателей, может быть, в десять раз увеличилась против той, что была тридцать лет назад. Наконец – и главное – все это было уже очень давно. Теперешнее же поколение вряд ли перечитывает старое. Мы даже думаем, что роман Виктора Гюго теперешнему поколению читателей очень мало известен. Вот почему мы и решились перевести в нашем журнале вещь гениальную, могучую, чтоб познакомить нашу публику с замечательнейшим произведением французской литературы нашего века. Мы даже думаем, что тридцать лет – такое расстояние, что даже и читавшим роман в свое время может быть не слишком отяготительно будет перечесть его в другой раз.

Итак, надеемся, что публика на нас не посетует за то, что мы предлагаем ей вещь так всем известную... *по названию.*

Ф. М. Достоевский

Собор Парижской Богоматери



Предисловие автора к восьмому изданию

Несколько лет тому назад, посещая, или, вернее, обследуя собор Парижской Богоматери, автор этой книги заметил в темном углу одной из башен вырезанное на стене слово:

ἀνάγκη⁵

Греческие письмена, почерневшие от времени и довольно глубоко высеченные в камне, неуловимые особенности готического письма, сквозившие в их форме и расположении и словно свидетельствовавшие о том, что их начертала средневековая рука, а более всего – мрачный и роковой смысл, заключавшийся в них, живо поразили автора.

⁵ Рок, судьба (греч.).

Он раздумывал, он старался отгадать, чья скорбящая душа не пожелала покинуть этот мир, не оставив клейма преступления или несчастья на челе старинного собора.

Теперь эту стену (я уже даже не помню, какую именно) не то покрасили, не то выскоблили, и надпись исчезла. Ведь уже двести лет у нас так поступают с чудесными средневековыми церквями. Их калечат всевозможными способами как снаружи, так и изнутри. Священник их перекрашивает, архитектор скребет; затем является народ и разрушает их вконец.

И вот, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги посвящает таинственному слову, высеченному в мрачной башне собора Парижской Богоматери, ничего не осталось ни от этого слова, ни от той неведомой судьбы, итог которой был столь меланхолически подведен в нем.

Человек, начертавший его на стене, исчез несколько столетий тому назад из числа живых, слово, в свою очередь, исчезло со стены собора, и самый собор, быть может, вскоре исчезнет с лица земли. Из-за этого слова и написана настоящая книга.

Февраль 1831 г.

Книга первая



І. Большой зал

Ровно триста сорок восемь лет шесть месяцев и девятнадцать дней тому назад парижан разбудил громкий трезвон всех колоколов трех кварталов: Старого и Нового города и Университета. А между тем этот день, 6 января 1482 года, не принадлежал к числу тех, о которых сохранилась память в истории. Ничего примечательного не было в событии, так взволновавшем жителей Парижа и заставившем с утра звонить все колокола. На город не шли приступом пикардийцы или бургундцы, студенты не бунтовали, не предвиделось ни въезда «нашего грозного властелина, господина короля», ни занимательного повешения воров и воровок. Не ожидалось также прибытия какого-нибудь разряженного и разубранного посольства, что случалось так часто в пятнадцатом веке. Всего два дня тому назад одно из таких посольств, состоящее из фламандских послов, явившихся с целью устроить брак между дофином и Маргаритой Фландрской, прибыло в Париж, к великой досаде кардинала Бурбонского, который, угождая королю, должен был волей-неволей оказывать любезный прием этим неотесанным фламандским бургомистрам и угощать их в своем Бурбонском дворце представлением «весьма прекрасной моралите, шуточной пьесы и фарса», в то время как проливной дождь хлестал по его великолепным коврам, разостланным у входа во дворец.

Но 6 января причиной волнения всех жителей Парижа, как говорит Жан де Труайе, было установившееся с незапамятных времен двойное празднество – праздник Богоявления и праздник шутов. В этот день бывала иллюминация на Гревской площади, посадка майского дерева в Бражской часовне и мистерия во Дворце правосудия.

Об этом провозгласили накануне на всех перекрестках, при звуках труб, городские глашатаи в красивых одеждах из фиолетового камлота, с большими белыми крестами на груди.



Консьержеры и мост Менял в XIX веке. Художник – Адриен Доза.

«В течение первых шести тысячелетий, начиная с самой древней пагоды Индостана и до Кельнского собора, зодчество было величайшей книгой рода человеческого»

(Виктор Гюго)

Толпы горожан и горожанок, заперев дома и лавки, направились с самого утра по трем разным направлениям. Одни шли на Гревскую площадь, другие – в часовню, третьи – смотреть мистерию. И нужно отдать справедливость здравому смыслу тогдашних парижских зевак: большинство из них предпочло иллюминацию, как раз подходящую ко времени года, и мистерию, которая должна была разыгрываться в большом зале Дворца, хорошо защищенном от непогоды. Бедному майскому дереву, едва покрытому листьями, любопытные предоставили одиноко зябнуть под январским небом на кладбище Бракской часовни.

Особенно много народу стекалось по улицам, ведущим ко Дворцу правосудия, так как было известно, что прибывшие два дня тому назад фламандские послы будут присутствовать на представлении и при избрании папы шутов, которое тоже должно было состояться в большом зале. Нелегко было пробраться в этот зал, считавшийся тогда самым большим на свете. (Действительно, тогда еще Соваль не измерял большого зала в замке Монтаржи.)

Залитая народом площадь перед Дворцом правосудия представлялась тем, кто смотрел на нее из окон, волнующимся морем, куда пять или шесть улиц изливали каждую минуту, подобно рекам, новые волны голов. И эти волны, все увеличиваясь, разбивались об углы домов, выступавших, словно мысы, то тут то там, в неправильном вместилище площади.

В центре высокого готического⁶ фасада Дворца правосудия с большой лестницы непрерывно поднимались и спускались толпы народу, разделяясь на верхней площадке и разливаясь широкими волнами по двум большим спускам, словно водопады. От криков, смеха, топота тысяч ног над площадью стояли страшный шум и гул. По временам этот шум усиливался, течение, несшее всю эту толпу к лестнице, внезапно поворачивало назад, и начинался какой-то водоворот. Это происходило тогда, когда полицейский страж ударял кого-нибудь ружейным прикладом или конный сержант врезался в толпу, чтобы водворить порядок; эта милая традиция, завещанная старшинами города коннетаблям, от коннетаблей перешла по наследству к объездной команде, а уж затем к теперешней жандармерии Парижа.

У дверей, у окон, на крышах, на чердаках – всюду виднелись тысячи добродушных, честных лиц горожан, глазевших на Дворец, на толпу и не желавших ничего больше. Многие парижане довольствуются тем, что лишь смотрят на других зрителей; даже стена, за которой происходит что-нибудь, уже представляет для них интерес.

Если бы мы, живущие в 1830 году, могли хоть мысленно смешаться с парижанами пятнадцатого века и войти вместе с ними, толкаясь, работая локтями и вертясь в гуще толпы, в огромный зал суда, казавшийся 6 января 1482 года столь тесным, мы увидели бы интересное и чарующее зрелище, нас окружали бы вещи столь старинные, что они показались бы нам совсем новыми.

Если читатель согласен, мы попробуем воспроизвести хоть мысленно то впечатление, которое мы с ним испытали бы, переступив за порог большого зала вместе с этой разношерстной толпой.

Прежде всего мы были бы оглушены страшным шумом и ослеплены роскошью и блеском. Вверху, над нашими головами, – двойной стрельчатый бледно-голубой свод, украшенный деревянной резьбой и усеянный золотыми лилиями; внизу, под ногами, – пол из черных и белых мраморных плит. В нескольких шагах от нас – громадная колонна, потом другая, третья. Всего вдоль зала семь колонн, поддерживающих двойной свод.

Вокруг первых четырех колонн – лавочки торговцев, сверкающие стеклом и разными побрякушками; вокруг трех остальных – дубовые скамьи, немало послужившие на своем веку, гладко отполированные одеждой тяжущихся и мантиями прокуроров. Кругом зала, вдоль высо-

⁶ Значение, которое обыкновенно придается слову «готический», хоть и неточно, но принято всеми. Мы, как и все, употребляем его здесь, чтобы охарактеризовать стиль архитектуры второй половины Средних веков, в котором стрельчатый свод служит таким же отличительным признаком, как в предшествовавшем ему периоде полукруглый свод. (Прим. В. Гюго.)

ких стен, между колоннами и в простенках между дверями и окнами, – бесконечный ряд статуй французских королей, начиная с Фарамонда, королей-лентяев с повисшими руками и опущенными глазами и королей мужественных, воинственных, смело поднявших к небу головы и руки. В высоких стрельчатых окнах вставлены тысячи разноцветных стекол. Великолепные двери украшены тонкой резьбой. И все это – свод, колонны, стены, наличники, потолок, двери, статуи – чудесного голубого цвета с золотом, уже несколько потускневшего в то время и вовсе исчезнувшего под пылью и паутиной к 1549 году, когда де Брель восхищался им уже только по преданию.

Теперь представьте себе этот громадный продолговатый зал, освещенный бледным светом январского дня, с нахлынувшей в него пестрой шумной толпой, и вы в общем получите о нем некоторое понятие, а интересные частности мы постараемся описать более точно.

Разумеется, если бы Равальяк не убил Генриха IV, в канцелярии дворца не хранились бы документы по его делу, не было бы сообщников, заинтересованных в исчезновении этих документов, а следовательно, не было бы и поджигателей, вынужденных, за неимением лучшего средства, сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь самый Дворец правосудия, чтобы сжечь канцелярию. Не было бы пожара 1618 года, старинный дворец сохранился бы до сих пор, и я мог бы сказать читателю: «Сходите посмотреть на большой зал». И мне не пришлось бы описывать его, а читателю – читать это посредственное описание. Все это служит доказательством новой истины, что великие события имеют неисчислимые последствия.

Возможно, конечно, что у Равальяка не было сообщников, а если он и имел их, то они все-таки могли быть неповинны в пожаре 1618 года. Существуют еще два весьма вероятных предположения. Во-первых, все знают, что 7 марта, после полуночи, большая пылающая звезда шириной в фут, длиной в локоть упала с неба на Дворец правосудия. Во-вторых, существует следующее четверостишие Теофиля:

Да, печальное было зрелище,
Когда парижская юстиция,
Объевшись пряников,
Подожгла свой дворец.

Но как бы мы ни смотрели на эти три толкования – политическое, физическое и поэтическое, – событие, к сожалению, неопровержимое, пожар Дворца правосудия в 1618 году, остается налицо. По милости этого пожара, а в особенности по милости позднейшей реставрации, погубившей то, что пощадил пожар, в настоящее время почти ничего не осталось от этого первого дворца французских королей. Он был древнее Лувра и уже в царствование Филиппа Красивого считался таким старинным, что в нем находили много общего с великолепными постройками, воздвигнутыми королем Робертом и описанными Гельгальдусом. И почти все исчезло. Что случилось с канцелярией, где Людовик Святой «скрепил свой брак»? С садом, где он, «одетый в камлотовое платье, камзол без рукавов из грубого сукна и черный плащ, решал дела, лежа на ковре вместе с Жуанвилем»? Где комнаты императора Сигизмунда, Карла IV, Иоанна Безземельного? Где лестница, с которой Карл IV провозгласил свой милостивый эдикт? Плита, на которой Марсель, в присутствии дофина, зарезал Роберта Клермонского и маршала Шампанского? Калитка, где были разорваны буллы антипапы Бенедикта и откуда вышли его посланные, наряженные в шутовские мантии и митры и принужденные публично каяться на всех перекрестках Парижа? Где большой зал с его голубой окраской, позолотой, статуями, колоннами, с его стрельчатым сводом, покрытым резьбой? А позолоченная комната? А каменный лев около дверей с опущенной головой и поджатым хвостом, как у львов Соломонова трона, – символ силы, смиренно склоняющейся перед правосудием? А великолепные двери и цветные оконные стекла? А резные дверные ручки, приводившие в отчаяние Бикорнета? А

изящная столярная работа дю Ганси?.. Что сделало время, что сделали люди со всеми этими чудесами? И что дали нам взамен этой истории галлов, этого готического стиля? Тяжелые полукруглые своды де Бросса, построившего неуклюжий портал Сен-Жерве, – по части искусства, а по части истории – вздорную болтовню господ Патрю о главной колонне. Нельзя сказать, чтобы это было много.

Но вернемся к настоящему большому залу настоящего старинного дворца...

Один конец этого гигантского параллелограмма был занят знаменитым мраморным столом, таким длинным, широким и толстым, что, по выражению старинных рукописей, он был способен возбудить аппетит у Гаргантюа, потому что подобного куска мрамора в мире не бывало. На противоположном конце зала находилась часовня, где Людовик XI велел поставить свою коленопреклоненную статую перед образом Божией Матери и куда, по его приказанию, невзирая на то что в ряду королевских статуй остались две пустые ниши, были перенесены статуи Карла Великого и Людовика Святого, двух святых, пользующихся, по его мнению, в качестве французских королей большим влиянием на небе. Эта часовня, совсем новая, существовавшая всего лет шесть, была в том изящном, прелестном архитектурном стиле, с чудесными скульптурными украшениями и тонкой резьбой, который заканчивает готическую эру и продолжается до середины шестнадцатого столетия в волшебных, причудливых созданиях эпохи Возрождения. Тончайшим произведением искусства была небольшая вделанная над входом сквозная розетка, необыкновенно изящной и тонкой работы. Она казалась сотканной из кружева звездой.

Посреди зала, напротив главного входа, около стены возвышалась обтянутая золотой парчой эстрада, на которую был устроен отдельный ход через окно коридора, находящегося перед золоченой комнатой. Эта эстрада была приготовлена для фламандских послов и других знатных особ, приглашенных на представление.

Мистерия, по издавна установившемуся обычаю, должна была разыгрываться на мраморной площадке, приготовленной с самого утра. На великолепной мраморной доске, исцарапанной каблуками судебных писцов, стояла довольно высокая деревянная клетка. Верхняя ее часть, хорошо видная всем зрителям, должна была служить сценой, а внутренняя, замаскированная коврами, – одевальной для актеров. Лестница, наивно приставленная к клетке снаружи, предназначалась для сообщения сцены с одевальной, и по ней должны были входить и уходить актеры. Как ни внезапно должно было появиться какое-нибудь действующее лицо, ему все-таки приходилось взбираться по этой лестнице, и каким неожиданным ни предполагался какой-нибудь сценический эффект, нельзя было обойтись без этих ступенек. Невинное и почтенное детство искусства и механики!

Четыре сержанта дворцового судьи, обязанные присутствовать при всех народных развлечениях как в дни празднеств, так и во время казней, стояли по четырем углам мраморной площадки.

Представление должно было начаться ровно в двенадцать – с последним ударом дворцовых часов. Это было, конечно, слишком поздно для театрального представления, но приходилось поневоле считаться с удобствами фламандских послов.

Между тем вся толпа, теснившаяся в зале, ждала здесь с самого утра. Многие из любопытства пришли на площадь, как только занялась заря, и терпеливо стояли там, дрожа от холода, а некоторые даже утверждали, что провели всю ночь у главного входа, чтобы наверняка войти первыми. Толпа увеличивалась с каждой минутой и, как река, выступившая из берегов, поднималась около стен, вздувалась вокруг колонн, разливалась по карнизам, подоконникам, выступам и всем выпуклостям скульптурных украшений.

От давки, скуки, нетерпения, свободы сумасбродного и шутовского дня, ссор, разгоравшихся из-за каждого пустяка – торчащего локтя или подбитого гвоздями башмака, – в криках этого стиснутого, запертого, задыхавшегося народа начало звучать раздражение еще задолго

до прибытия послов. Со всех сторон раздавались жалобы и проклятия по адресу фламандцев, купеческого старшины, кардинала Бурбонского, судьи, Маргариты Австрийской, сержантов с жезлами, холода, жары, дурной погоды, парижского епископа, Папы, шутов, колонн, статуй, запертой двери, открытого окна. Все это очень забавляло затесавшихся в толпу студентов и слуг, старавшихся еще больше подзадорить недовольных, раздражая их, словно булавочными уколами, язвительными остротами и насмешками.

Особенно отличалась одна группа веселых забияк, которые, выбив в окне стекла, бесстрашно уселись на подоконник и оттуда осыпали насмешками попеременно то толпу на площади, то толпу в зале. По их оживленным жестам, звонкому хохоту, по тому, как весело перекликались они через весь зал с товарищами, видно было, что эти молодые люди не скучают и не томятся, как остальная публика, и что это зрелище вполне их удовлетворяет в ожидании другого.

– Черт побери, да это ты, Жан Фролло де Молендино! – крикнул один из них, увидав маленького белокурого бесенка с хорошеньким, плутовским личиком, повисшего на акантах капители. – Ну, недаром же тебя зовут Жаном Фролло Муленом⁷. Твои руки и ноги и впрямь похожи на четыре крыла ветряной мельницы. Давно ты здесь?

– Да уж побольше четырех часов, – ответил Жан Фролло. – Надеюсь, они зачтутся мне, когда я попаду в чистилище. Я слышал, как восемь певчих сицилийского короля начали петь в семь часов раннюю обедню в капелле.

– Отличные певчие! Голоса их, пожалуй, еще пронзительнее их остроконечных колпаков. Только, прежде чем служить обедню святому Иоанну, королю следовало бы разузнать, нравятся ли святому Иоанну латинские псалмы с провансальским акцентом.

– И все это сделано для того, чтобы эти проклятые сицилийские певчие могли зашибить деньгу! – резко крикнула старуха, стоявшая в толпе под окном. – Подумать только! Тысячу ливров за одну обедню! Да еще из налога с продажи морской рыбы на парижских рынках!

– Помолчи, старуха! – сказал важный толстяк, стоявший возле рыбной торговки и зажимавший себе нос. – Нельзя было не отслужить обедни. Разве тебе хочется, чтобы король опять заболел?

– Ловко сказано, мэтр Жилль Лекорню, придворный меховщик! – закричал маленький студентик, прицепившийся к капители.

Все школяры громко захохотали, услышав злосчастное имя придворного поставщика мехов.

– Лекорню! Жилль Лекорню!⁸ – кричали они.

– *Cornutus et hirsutus!*⁹ – прибавил кто-то.

– Ну, ясно, – продолжал маленький дьяволенок на капители. – И чему они смеются? Этот почтенный человек, Жилль Лекорню, – брат Жана Лекорню, смотрителя королевского дворца, сын Маги Лекорню, главного сторожа в Венсенском лесу. Все они парижские горожане, и все до одного женаты.

Хохот усилился. Толстый меховщик, не говоря ни слова, старался скрыться от устремленных на него со всех сторон глаз. Но тщетно пыхтел он и обливался потом: он торчал как клин, вбитый в дерево, и, сколько ни старался, только и мог, что спрятать за плечи соседей свое толстое, побагровевшее от досады и гнева лицо.

Наконец один из его соседей, такой же толстый, коренастый и почтенный, как он сам, пришел к нему на помощь.

⁷ Moulin – мельница (*фр.*).

⁸ Le cornu – рогатый (*фр.*).

⁹ Рогатый и косматый (*лат.*).

– Безобразие! – воскликнул он. – Как смеют студенты так издеваться над горожанином! В мое время их высекли бы за это розгами, а потом сожгли бы на костре из этих самых розг.

Вся банда студентов накинулась на него:

– Эй! Кто это распекает там? Что это за зловещая сова?

– Постойте-ка, я знаю его! – воскликнул кто-то. – Это мэтр Андри Мюнье.

– Один из четырех присяжных книгопродавцов университета! – подхватил другой.

– В этой лавчонке всякого добра по четыре штуки! – крикнул третий. – Четыре нации, четыре факультета, четыре праздника, четыре попечителя, четыре избирателя и четыре книгопродавца.

– Ну, так мы четырежды надделаем им хлопот! – вскричал Жан Фролло.

– Мюнье, мы сождем твои книги!

– Мюнье, мы поколотим твоего слугу!

– Мюнье, мы намнем бока твоей жене!

– Что за славная толстуха – эта госпожа Ударда!

– И притом так свежа и весела, как будто овдовела!

– Черт побери вас всех! – пробормотал Мюнье.

– Молчи, мэтр Андри, а не то я свалюсь тебе прямо на голову, – сказал Жан, все еще вися на своей капители.

Мэтр Андри поднял глаза, смерил высоту капители, определил приблизительную тяжесть Жана и, помножив ее в уме на квадрат скорости, замолчал.

– Так-то лучше, – злорадно проговорил Жан, торжествуя победу. – Я это сделал бы, хоть и прихожусь родным братом архидьякону.

– Что за жалкое начальство сидит у нас в университете! Они даже не подумали ознаменовать наши привилегии в такой день, как сегодня! В городе – праздник мая и иллюминация; здесь – мистерия, папа шутов и послы; у нас в университете – ничего!

– А между тем площадь Мобер, кажется, достаточно велика, – заметил один из студентов, сидевших на подоконнике.

– Долой ректора, избирателей и попечителей! – крикнул Жан.

– Устроим сегодня иллюминацию из книг мэтра Андри, – вторил ему другой.

– И из пюпитров писцов! – подхватил его сосед.

– И из жезлов надзирателей!

– И из плевательниц деканов!

– И из шкафов прокуроров!

– И из скамеек ректора!

– Долой! – зажужжал, как пчела, маленький Жан. – Долой мэтра Андри, надзирателей и писцов! Теологов, медиков и докторов богословия! Попечителя, избирателей и ректора!

– Настоящее светопреставление! – пробормотал Мюнье, затыкая уши.

– Вот, кстати, и ректор! Вот он пересекает площадь! – крикнул один из сидевших на окне. Все устремили глаза на площадь.

– Неужели это в самом деле наш достопочтенный ректор, мэтр Тибо? – спросил Жан Фролло де Мулен; вися на капители, он не мог видеть площади.

– Да, да! – закричали ему. – Это он сам, мэтр Тибо, ректор!

И действительно, ректор и все университетские власти двигались процессией перед послами и в настоящую минуту пересекали Дворцовую площадь. Сидевшие на окне студенты встретили их саркастическими выкриками и насмешливыми рукоплесканиями. Ректору, ехавшему впереди, достался первый оглушительный залп.

– Здравствуйте, господин ректор! Эй! Да здравствуйте же!

– Как он попал сюда, этот старый игрок? Как он решился расстаться с игральными костями?

– Смотрите, как он подпрыгивает на муле. А ведь, право же, у мула уши короче, чем у него самого!

– Здравствуйте, господин ректор Тибо! *Tybalde aleator*¹⁰. Старый дуралей! Старый игрок!

– Много ли раз выбросили вы двойную шестерку сегодня ночью?

– Что за отвратительная рожа – бледная, испитая, помятая! А все страсть к азартной игре!

– Куда это вы едете, Тибо, *Tybalde ad dados*? Повернувшись спиной к университету, а лицом к городу?

– Он, наверное, едет искать квартиру в улице Тиботодэ!¹¹ – крикнул Жан де Мулен.

Вся компания с ревом повторила его остроу и неистово захлопала в ладоши.

– Вы, значит, хотите поселиться в улице Тиботодэ, ведь так, господин ректор, чертов игрок?



Арки, ведущие к старой резиденции Виктора Гюго. Они расположены на площади Воге-зов. Ранее старейшая площадь Парижа называлась Королевской.

«Воспитание – дело совести; образование – дело науки. Позднее, в уже сложившемся человеке, оба эти вида познания дополняют друг друга»

(Виктор Гюго)

Потом наступила очередь других сановников университета.

– Долой надзирателей! Долой жезлоносцев!

– А это что за птица? Не знаешь ли ты, Робен Пуспен, кто это?

– Это Жильбер де Сюильи, *Gilbertus de Soliaco*, канцлер Отенской коллегии.

– Постой, вот мой башмак. Тебе ловчее, брось-ка его ему в физиономию!

– *Saturnialitias mittimus esse nuces*¹².

– Долой шестерых богословов с их белыми стихарями!

¹⁰ Тибальд-кормилец (*лат.*).

¹¹ Непередаваемая игра слов, означающая: «Тибо с игральными костями».

¹² Вот мы и швыряем орешки сатурналиев (*лат.*).

– Так это-то богословы? А я думал, что это шесть белых гусей, которых святая Женевьева пожертвовала городу.

– Долой медиков!

– Долой диспуты на заданный и выбранный по желанию тезис!

– А! Вот канцлер святой Женевьевы, швырну-ка в него своей шапкой! Немало он мне насолил! Он отдал мое место у нормандцев маленькому Асканию Фальзаспада из Буржской провинции, потому что он итальянец.

– Это несправедливо! – закричали все студенты. – Долой канцлера святой Женевьевы!

– Эй! Иоахим де Ладегор! Э-гей! Луи Дагюиль! Э-гей! Ламбер-Гоктеман!

– Ко всем чертям покровителя германской нации!

– И капелланов капеллы с их серым меховым облачением! *Cum tunicis grisis*¹³.

– *Seu de pellibus grisis furratis*¹⁴.

– Ого! Профессора университета! Все красивые черные мантии! Все красивые красные мантии!

– У ректора получился недурной хвост.

– Право же, можно подумать, что это венецианский дож идет обручаться с морем!

– Смотри-ка, Жан! Каноники Святой Женевьевы!

– К черту каноников!

– Аббат Клод Шоар! Доктор Клод Шоар! Вы, должно быть, ищите Мари Жиффар?

– Она живет на улице Глатиньи!

– Она греет постель королю распутников!

– Она выплачивает свои четыре денье – *quatuor denarios*.

– *Aut unum bombum*¹⁵.

– Вы хотите, чтобы она дала вам по носу?

– Смотрите! Это едет Симон Сангэн, избиратель из Пикардии, а сзади сидит его жена.

– *Post equitem sedet atra cura*¹⁶.

– Смелее, мэтр Симон!

– Доброго утра, господин избиратель!

– Спокойной ночи, госпожа избирательница!

– Какие счастливицы – им видно все! – со вздохом проговорил Жан де Мулен, все еще цепляясь за завитки своей капители.

Между тем книгопродавец университета Андри Мюнье нагнулся к уху королевского меховщика Жилля Лекорню.

– Ну, право же, сударь, пришел конец света! – сказал он. – Никогда еще не видано было такой распущенности студентов. А всему виной эти проклятые новые изобретения – пушки, кулеврины, бомбарды, а в особенности книгопечатание – еще одна немецкая язва! Не будет больше ни рукописных сочинений, ни книг. Да, книгопечатание убивает книжную торговлю. Пришел конец мира!

– Верно, верно! Это видно уж по тому, как бойко стал расходиться бархат, – заметил меховщик.

В эту минуту пробило двенадцать.

– А! – в один голос воскликнула вся толпа.

Студенты замолчали; в зале поднялась страшная суматоха. Головы задвигались, ноги зашаркали, люди начали оглушительно кашлять и сморкаться; каждый старался устроиться

¹³ С серыми туниками (*лат.*).

¹⁴ Или с серыми овчинными шкурами (*лат.*).

¹⁵ Или одну потасовку (*лат.*).

¹⁶ Сзади него черная забота (*лат.*).

поудобнее; затем наступила глубокая тишина. Все шеи вытянулись, все рты открылись, все глаза устремились к мраморной площадке. Но там не было никого. Только четыре сержанта, вытянувшись в струнку, продолжали стоять неподвижно, как раскрашенные статуи. Все взгляды обратились к эстраде, приготовленной для посольства; дверь была затворена, и эстрада пуста. Вся эта толпа ждала с самого утра, полдня, посольства и мистерии. Но лишь один полдень настал вовремя.

Это было уж слишком.

Подождали одну, две, три, пять минут, четверть часа – представление не начиналось. Эстрада оставалась по-прежнему пустой, сцена – немой. Нетерпение начало сменяться гневом. Послышались недовольные возгласы – правда, еще негромкие – и сдержанный гул голосов: «Мистерию! Мистерию!» Возбуждение росло. Буря, пока еще вызывавшая лишь ропот, готова была разразиться каждую минуту. Первая искра вспыхнула благодаря Жану де Мулену.

– Мистерию, и к черту фламандцев! – крикнул он во всю силу своих легких, обвинившись, как змея, вокруг капители.

Толпа захлопала в ладоши.

– Мистерию! – заревела она. – Ко всем чертям Фландрию!

– Начинайте мистерию, и сию же минуту! – продолжал студент. – А не то мы взамен представления повесим судью!

– Верно, верно! – подхватила толпа. – А для начала повесим его сержантов.

Поднялся страшный шум и крики. Несчастные сержанты побледнели и переглянулись. Толпа надвигалась на них, того и гляди рухнет легкая деревянная балюстрада, отделяющая их от зрителей.

Минута была критическая.

– Вздернуть их! Вздернуть! – кричали со всех сторон. Вдруг ковер, закрывавший вход в одевальную, откинулся, и показался человек, один вид которого умиротворил толпу и, словно по волшебству, превратил ее гнев в любопытство.

– Тише! Тише! – раздались отовсюду голоса.

Вошедший неуверенно и боязливо шел по площадке, ежеминутно кланяясь. И чем ближе он подходил к краю, тем ниже становились его поклоны и тем больше были они похожи на коленопреклонение.

Между тем шум мало-помалу затих. Остался только тот легкий гул, который всегда стоит над замолчавшей толпой.

– Господа горожане и госпожи горожанки! – сказал вошедший. – Мы будем иметь честь представлять и декламировать перед его преосвященством господином кардиналом прекрасную моралите, под названием «Премудрый суд Пресвятой Девы Марии». Я буду играть Юпитера. Его преосвященство сопровождает в настоящую минуту достопочтенное посольство герцога Австрийского, которое несколько замешкалось, слушая приветственную речь господина ректора университета у ворот Бодэ. Как только прибудет его преосвященство господин кардинал, мы тотчас же начнем представление.

Только вмешательство самого Юпитера и могло спасти четырех судейских сержантов. Если бы мы сами выдумали эту правдивую историю и были ответственны за нее перед судом почтеннейшей критики, то против нас нельзя было бы выставить классическое правило «*Nes deus intersit*»¹⁷. Кроме того, костюм Юпитера был очень красив и немало способствовал успокоению толпы, так как привлек всеобщее внимание. Юпитер был в латах, обтянутых черным бархатом, прикрепленным золотыми гвоздиками; на голове его была шапочка, украшенная серебряными вызолоченными шишечками. И если бы толстый слой румян не покрывал верхней части его лица, а густая рыжая борода не закрывала нижней; если бы он не держал в руках

¹⁷ «Незачем впутывать Бога» (лат.).

позолоченной картонной трубки, усеянной блестками и мишурой, в которой опытный глаз сейчас же узнал бы молнию; если б не его ноги, обтянутые телесным трико и перевитые на греческий манер лентами, – то он строгостью своей осанки мог бы поспорить с любым бретонским стрелком из отряда герцога Беррийского.

II. Пьер Гренгуар

Восхищение, вызванное костюмом Юпитера, мало-помалу проходило по мере того, как он говорил свою речь. А когда он дошел до злополучного заключения: «Как только прибудет его преосвященство господин кардинал, мы тотчас же начнем представление», – голос его был заглушен громкими криками.

– Начинайте сейчас же! Мистерию! Мистерию! Сейчас же начинайте мистерию! – кричал народ.

Громче всех звучал пронзительный голос Жана де Мулена, выделявшийся как звук флейты среди грома других инструментов.

– Начинайте сию же минуту! – визжал студент.

– Долой Юпитера и кардинала Бурбонского! – вопили Робен Пуспен и клерки, сидевшие на окне.

– Играйте моралите, – ревела толпа. – Сейчас же! Сию же минуту! А не то мы повесим комедиантов и кардинала!

Бедный Юпитер, растерянный, перепуганный, побледневший под румянами, уронил молнию, снял шапочку, задрожал всем телом и, низко кланяясь, пробормотал: «Его преосвященство... послы... госпожа Маргарита Фландрская...» Он не знал, что сказать. Он всерьез испугался, что его могут повесить. Его повесит народ, если он будет ждать кардинала, его повесит кардинал, если он не станет ждать его. И в том и в другом случае – виселица.

К счастью, нашелся человек, пожелавший вывести его из затруднения и взять ответственность на себя.

До сих пор этот так неожиданно явившийся спаситель стоял в промежутке между балюстрадой и мраморным помостом. Его никто не замечал, так как колонна скрывала от публики его длинную тощую фигуру. Это был высокий, худой, бледный белокурый человек с блестящими глазами, улыбающийся, еще молодой, но уже с морщинами на лбу и на щеках. На нем была черная саржевая одежда, сильно потертая и лоснившаяся от времени. Он подошел к мраморному помосту и сделал знак несчастному Юпитеру. Но тот, совсем растерявшись, не замечал его.

– Юпитер! – позвал его незнакомец, подойдя еще ближе. – Любезный Юпитер!

Юпитер не слышал его.

Тогда высокий блондин, потеряв терпение, крикнул ему чуть не в самое ухо:

– Мишель Жиборн!

– Кто меня зовет? – спросил Юпитер, словно внезапно пробудившись от сна.

– Я! – ответил незнакомец в черном.

– А! – сказал Юпитер.

– Начинайте сейчас же. Удовлетворите публику. Я берусь утихомирить судью, а тот утихомирит кардинала.

Юпитер облегченно вздохнул.

– Господа горожане! – воскликнул он насколько мог громче, обращаясь к толпе, продолжавшей кричать и свистеть. – Мы сию минуту начнем представление!

– Evoe, Jupiter! Plaudite, cives!¹⁸ – закричали студенты.

¹⁸ Ликуй, Юпитер! Рукоплещите, граждане! (Лат.)

– Bravo! Bravo! – заревела толпа.

Раздался оглушительный взрыв рукоплесканий, и даже после того, как Юпитер скрылся в одеальной, весь зал еще дрожал от криков одобрения.

Между тем незнакомец, превратившийся, как по волшебству, «бурю в штиль», как выражается наш милый старый Корнель, скромно удалился за свою колонну. Он, наверное, там бы и остался, по-прежнему невидимый для публики, по-прежнему безмолвный и неподвижный, если бы его не вызвали оттуда две молодые девушки, сидевшие в первом ряду зрителей и заметившие его разговор с Мишеlem Жиборном – Юпитером.

– Мэтр! – сказала одна из них, делая знак подойти.

– Молчи, милая Лиенарда, – остановила ее сидевшая рядом с ней хорошенькая, свеженькая, разряженная по-праздничному девушка. – Он к клиру не принадлежит, он мирянин. Его нужно называть не «мэтр», а «мессир».

– Мессир! – сказала Лиенарда.

Незнакомец подошел к балюстраде.

– Что вам угодно, сударыни? – любезно спросил он.

– Нет... ничего! – смутившись, ответила Лиенарда. – Не я, а моя соседка, Жискета ла Жансьен, хотела вам что-то сказать.

– Неправда, – возразила Жискета, покраснев. – Это Лиенарда сказала вам «мэтр». А я поправила ее, объяснив, что нужно назвать вас «мессир».

Обе молодые девушки опустили глазки. Незнакомец, который, по-видимому, был не прочь продолжать разговор, улыбаясь, смотрел на них.

– Так я ничем не могу служить вам, сударыни? – спросил он.

– О, ничем! – ответила Жискета.

– Совершенно ничем, – добавила Лиенарда.

Высокий блондин сделал шаг назад, собираясь уйти. Но две любопытные девушки не имели ни малейшего желания выпустить так легко свою добычу.

– Мессир, – заговорила Жискета с той стремительностью, которая свойственна водяному потоку и женской болтовне, – значит, вы знаете этого солдата, который будет играть роль Пресвятой Девы в мистерии?

– То есть вы хотите сказать – роль Юпитера? – спросил незнакомец.

– Конечно! – воскликнула Лиенарда. – Какая она глупая! Так вы знаете Юпитера?

– Мишеля Жиборна? Да, сударыня.

– Какая у него красивая борода! – сказала Лиенарда.

– А хорошо то, что они будут представлять? – застенчиво спросила Жискета.

– Великолепно, сударыня, – без малейшего колебания ответил блондин.

– Что же это будет? – спросила Лиенарда.

– «Премудрый суд Пресвятой Девы Марии» – моралите, сударыня.

– А, это дело другое! – сказала Лиенарда.

Наступила короткая пауза. Незнакомец прервал ее.

– Это совершенно новая моралите, – заметил он, – ее еще ни разу не играли.

– Значит, это не та, – спросила Жискета, – которую давали два года тому назад, в тот день, как в город въезжал легат? Там еще играли три хорошенькие девушки, которые изображали...

– Сирен... – подсказала Лиенарда.

– И совсем голых, – прибавил молодой человек.

Лиенарда стыдливо опустила глаза. Жискета взглянула на нее и последовала ее примеру.

– Да, это была очень интересная пьеса, – продолжал их собеседник. – Но сегодня будут играть моралите, написанную нарочно для герцогини Фландрской.

– А будут петь пастушеские песенки? – спросила Жискета.

– Помилуйте, разве это возможно в моралите? Не нужно смешивать разные жанры. Будь это шуточная пьеса, тогда дело другое.

– Жаль, – сказала Жискета. – В день приезда легата у фонтана Понсо играли прекрасную пьесу. Мужчины и женщины – их было очень много – представляли дикарей, сражались между собою и пели пастушеские песни и мотеты.

– То, что хорошо для легата, – довольно сухо заметил молодой человек, – не подходит для принцессы.

– И тогда, – сказала Лиенарда, – на различных инструментах исполняли чудесные мелодии.

– А чтобы прохожие могли освежиться, – подхватила Жискета, – из трех отверстий фонтана били вино, молоко и напиток с пряностями. Всякий мог пить сколько угодно.

– А немножко дальше фонтана, у Троицы, – продолжала Лиенарда, – актеры безмолвно представляли страсти Христовы.

– Ах, как хорошо я помню это! – воскликнула Жискета. – Господь на кресте и два разбойника по правую и по левую сторону.

Тут молодые подружки, разгоряченные воспоминаниями обо всем виденном в день въезда легата, затараторили разом, перебивая друг друга:

– А немного дальше, у Ворот живописцев, как великолепно были одеты актеры!

– А помнишь охотника, который около фонтана Святого Иннокентия гнался за козочкой, и собаки громко лаяли, и трубили рога?

– А около парижской бойни были устроены подмости, изображавшие Дьепскую крепость...

– И когда мимо проезжал легат, – помнишь, Жискета? – начался приступ, и всех англичан перерезали.

– А какие прекрасные актеры были у ворот Шатлэ!

– А что творилось у моста Шанж!

– А как только легат въехал на мост, выпустили больше двухсот дюжин всяких птиц. Ах, как это было красиво, Лиенарда!

– Сегодня будет еще лучше, – сказал их собеседник, по-видимому, с нетерпением слушавший их болтовню.

– Вы ручаетесь, что мистерия будет хороша? – спросила Жискета.

– Вполне, – ответил он и прибавил несколько напыщенно: – Я автор этой пьесы, сударыни.

– Неужели? – воскликнули изумленные девушки.

– Совершенно верно, – ответил поэт, слегка выпятив грудь. – Нас, собственно, двое: Жан Маршан напилил доски и сколотил театр, а я написал пьесу. Меня зовут Пьер Гренгуар.



Пьер Гренгуар. Художник – Адольф-Альфонс Жери-Бишар. 1889 г.
*«Я имею счастье проводить время с утра и до вечера в обществе гениального человека,
то есть с самим собой, а это очень приятно»*
(Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери»)

Даже автор «Сиды» не сумел бы более гордо произнести свое имя: Пьер Корнель.

Читатель, наверное, заметил, что должно было пройти уже порядочно времени с тех пор, как Юпитер ушел в одевальную, до той минуты, как Пьер Гренгуар объявил девушкам, что он автор новой моралите, и тем вызвал их наивное восхищение. Странная вещь! Вся эта толпа, такая буйная всего несколько минут тому назад, теперь добродушно ждала, успокоенная обещанием актера. Новое доказательство той вечной истины, которая ежедневно подтверждается и в наших театрах, что лучший способ заставить публику терпеливо ждать – это объявить ей: «Представление сейчас начнется!» Однако студента Жана провести было не так просто.

– Эй! – раздался вдруг его голос, нарушая мирную тишину, сменившую шум и волнение. – Юпитер, Пречистая Дева и все прочие чертовы фигляры! Насмехаетесь вы, что ли, над нами? Пьесу! Пьесу! Начинайте, а не то опять начнем мы!

Этого возгласа оказалось вполне достаточно.

Изнутри стоявшей на столе огромной клетки послышались звуки высоких и низких инструментов; ковер, закрывавший вход, откинулся, из одеваальной вышли четверо нарумяненных актеров в пестрых костюмах. Они вскарабкались по крутой лестнице и, добравшись до сцены, выстроились в ряд перед публикой и низко поклонились. Музыка смолкла. Началась мистерия. Четыре актера, щедро вознагражденные за свои поклоны рукоплесканиями, начали среди благоговейной тишины пролог, от которого мы избавим читателя. Впрочем, и публика не особенно внимательно слушала его. Ее, как нередко бывает и в наши дни, гораздо больше занимали костюмы действующих лиц, чем их роли. А на костюмы этих четверых актеров действительно стоило посмотреть. Все они были в платьях наполовину желтых, наполовину белых, одинаковых по покрою, но из разной материи. Платье первого актера было из золотой и серебряной парчи, платье второго – из шелковой материи, третьего – из шерстяной и четвертого – из полотна. Первый держал в руке шпагу, второй – два золотых ключа, третий – весы, четвертый – лопату. А чтобы зрители, не умеющие быстро соображать, поняли, что означают эти атрибуты, на подоле парчового платья было вышито большими черными буквами: «Я – дворянство»; на подоле шелкового платья: «Я – духовенство»; на подоле шерстяного: «Я – купечество»; и на подоле полотняного: «Я – крестьянство». Каждый здравомыслящий человек мог сейчас же догадаться, какие из этих аллегорических фигур были мужского пола и какие женского, так как на первых платья были короче, а головные уборы гораздо проще.

Нужно было также не хотеть понимать, чтобы не понять из стихотворного пролога, что Крестьянство состояло в браке с Купечеством, а Духовенство – с Дворянством и что у этих двух счастливых парочек был общий чудный золотой дельфин, которого они решили отдать самой красивой женщине в мире. Они отправились разыскивать эту красавицу по всему свету; отвергнув голкондскую королеву, трапезондскую принцессу, дочь великого хана татарского и многих других, Крестьянство, Купечество, Духовенство и Дворянство пришли отдохнуть на мраморном помосте Дворца правосудия, где принялись угощать почтенную публику таким огромным количеством афоризмов, остроумных изречений, софизмов и риторических фигур, что их могло бы хватить на весь факультет словесных наук, для всех добывающихся ученой степени.

Все шло прекрасно.

Но ни у кого из слушателей, на которых эти четыре аллегорические фигуры изливали целые потоки метафор, не было таких внимательных ушей, такого трепещущего сердца, такого напряженного взгляда и такой вытянутой шеи, как у самого автора, поэта Пьера Гренгуара, который несколько минут тому назад не мог устоять против желания назвать свое имя двум хорошеньким девушкам. Теперь он стоял в нескольких шагах от них, спрятавшись за колонну, слушал, смотрел и наслаждался. Поощрительные аплодисменты, приветствовавшие начало его пролога, еще звучали у него в ушах, и он забылся в том блаженном упоении, с каким автор внимает словам актера, передающего его мысли одну за другой среди безмолвия многочисленной публики.

Достойный Пьер Гренгуар!

Однако это восторженное состояние, как нам ни грустно сознаться в этом, было скоро нарушено. Едва Гренгуар успел поднести к губам эту опьяняющую чашу радости и триумфа, как в нее уже попала капля горечи.

Какой-то оборванный нищий, настолько затертый толпой, что не мог собирать милостыню, неудовлетворенный жалкими подачками своих соседей, решил взобраться на какое-нибудь видное местечко, надеясь привлечь внимание публики и выклянчить у нее побольше. И вот во время пролога он ухитрился вскарабкаться по столбам эстрады, приготовленной для почетных гостей, и добрался до карниза под балюстрадой, где и уселся на виду, стараясь разжалобить зрителей своими лохмотьями и язвой на правой руке. Он не произносил при этом ни слова, и пролог продолжался без помехи. Он и закончился бы, пожалуй, благополучно, если бы по несчастной случайности студент Жан не заметил со своей колонны кривлявшегося нищего. Повеса громко захохотал и, нисколько не заботясь о том, что прерывает представление и мешает внимательно слушающей публике, весело крикнул:

– Посмотрите-ка! Этот несчастный собирает милостыню!

Тот, кому случалось бросить камень в болото, где много лягушек, или выстрелить в стаю птиц, может легко представить себе, какое действие произвело на зрителей это неожиданное восклицание в то время, как все внимание их было обращено на сцену. Гренгуар вздрогнул, как от электрической искры. Пролог прервался, и все головы сразу повернулись к нищему, которого это нимало не смутило. Он, напротив, нашел, что теперь самое подходящее время просить милостыню, и, полузакрыв глаза, жалобно затянул: «Подайте Христа ради».

– Вот так штука! – воскликнул Жан. – Клянусь, это Клопен Труильфу. Эй, приятель! Должно быть, болячка на ноге мешала тебе, что ты перенес ее на руку?

Говоря это, он с ловкостью обезьяны бросил мелкую серебряную монету прямо в засаленную шапку, которую Клопен держал в своей больной руке. Нищий, не сморгнув, принял подавание и насмешку и продолжал жалобно тянуть: «Подайте Христа ради!»

Этот случай послужил немалым развлечением для публики, и многие зрители с Робеном Пуспеном и всеми членами причта во главе весело аплодировали странному дуэту, который так неожиданно затеяли среди пролога студент, пронзительно кричавший, и монотонно причитавший нищий.

Гренгуар был возмущен. Оправившись от неожиданности, он изо всех сил закричал актерам:

– Продолжайте! Черт возьми, да продолжайте же! – Он не удостоил даже взглядом двух нарушителей тишины.

В эту минуту кто-то дернул его за платье. Он с досадой обернулся и едва мог заставить себя улыбнуться. А не улыбнуться было нельзя: это Жискета ла Жансьен, просунув свою хорошенькую ручку через решетку, старалась таким способом привлечь к себе его внимание.

– Сударь, – спросила девушка, – актеры будут продолжать?

– Конечно, – ответил несколько задетый этим вопросом Гренгуар.

– В таком случае, мессир, не будете ли вы любезны объяснить мне...

– Что они будут говорить? – прервал ее Гренгуар. – Извольте. Они...

– Нет, – сказала Жискета, – объясните мне, пожалуйста, что они говорили раньше!

Гренгуар вздрогнул, как вздрагивает человек, когда неосторожно дотронутся до его открытой раны.

– Черт бы побрал эту глупую девчонку! – сквозь зубы пробормотал он.

И с этой минуты Жискета погибла в его мнении. Между тем актеры повиновались ему и снова начали играть. Зрители, видя, что они заговорили, стали слушать. Но они все-таки были лишены возможности насладиться несколькими прекрасными местами пролога из-за злополучного перерыва, так неожиданно разделившего его на две части. Так, по крайней мере, с

горечью подумал про себя Гренгуар. Все же тишина мало-помалу восстановилась; студент молчал, нищий считал монеты в своей шапке, а пьеса шла своим чередом.

Это была, в сущности, очень недурная пьеса, которая могла бы, пожалуй, с успехом пойти с некоторыми изменениями и в наше время. Положим, она, согласно тогдашним правилам, была слишком растянута и бессодержательна, зато она отличалась простотой, и Гренгуар в глубине души восхищался необыкновенной ясностью изложения.

Как и следовало ожидать, две аллегорические парочки немножко устали, обегав три части света и не найдя случая приличным образом отделаться от своего золотого дельфина¹⁹. А потому понятны бесконечные похвалы, которые они расточали своей чудесной рыбе, делая в то же время тонкие намеки на юного жениха Маргариты Фландрской. А он в это самое время сидел в печальном заточении в Амбуазе, нимало не подозревая, что Крестьянство, Купечество, Духовенство и Дворянство совершили ради него целое кругосветное путешествие. Итак, дельфин был молод, красив, силен и – что еще важнее – был сыном Льва Франции, отсюда все его царственные достоинства. Эта удивительная и смелая метафора, хотя и несогласная с законами природы, не казалась неестественной в аллегории, написанной по случаю предстоящего бракосочетания дофина. Дельфин – сын Льва! Что же, как не вдохновение, внушило поэту такое необыкновенное и смелое сопоставление!

Однако критик, наверное, заметил бы, что двухсот стихов, пожалуй, слишком много для развития прекрасной идеи автора. Но и в этом случае для него находилось оправдание: господин прево распорядился, чтобы мистерия продолжалась от двенадцати до четырех часов, и потому поэту поневоле приходилось быть многоречивым, – не могли же актеры стоять молча на сцене. Впрочем, слушали терпеливо.

Вдруг, в то время как ссора между Купечеством и Дворянством находилась в полном разгаре и Крестьянство произносило удивительный стих:

On ne vis dans les bois bête plus triomphante...²⁰ —

дверь эстрады, которая до сих пор так некстати оставалась закрытой, теперь еще более некстати отворилась, и привратник громко провозгласил:

– Его преосвященство монсеньор кардинал Бурбонский!

III. Кардинал

Бедный Гренгуар! Треск огромных двойных петард в Иванов день, залп двадцати мушкетов, выстрел знаменитой пушки башни Бильи, которым в воскресенье 29 сентября 1465 года, во время осады Парижа, было убито сразу семеро бургундцев, взрыв всего хранящегося у ворот Тампля пороха оглушили бы его в торжественную и драматическую минуту меньше, чем эта коротенькая фраза слуги: «Его преосвященство монсеньор кардинал Бурбонский!»

Дело было не в том, что Пьер Гренгуар боялся кардинала или относился к нему с пренебрежением. Нет, он не был ни настолько малодушен, ни настолько высокомерен. Настоящий эклектик, как его называли бы в наше время, он принадлежал к числу тех спокойных, уравновешенных людей, обладающих возвышенным и твердым умом, которые всегда и во всем держатся золотой середины (*stare in dimidio rerum*), здраво рассуждают и либерально философствуют, относясь в то же время с полным уважением к кардиналам. Этот замечательный тип философов никогда не исчезает. Мудрость, словно Ариадна, дает им клубок ниток, и они, разматывая его, шествуют от сотворения мира сквозь лабиринт человеческих дел. Они всегда одина-

¹⁹ Игра слов: по-французски «dauphin» – «дельфин» и «дофин» (наследник французского престола).

²⁰ В лесу невидан был такой торжествующий зверь (*стар. фр.*).

ковы, то есть всегда умеют приноровиться к своему времени. Оставив в стороне Гренгуара, их представителя в пятнадцатом веке, мы легко найдем подобный же тип и в шестнадцатом. Стоит только припомнить великолепные в своей наивности и достойные всех веков взгляды отца де Бреля: «Я парижанин по происхождению и парижанин по манере говорить, потому что „parthisia” по-гречески значит „свобода речи”. Я всегда говорил без всякого стеснения правду монсеньорам кардиналам, дяде и брату монсеньора принца²¹, конечно, с должным уважением к их высокому сану и не оскорбляя никого из их свиты, что было нелегко».

Итак, в неприятном впечатлении, произведенном на Гренгуара появлением кардинала, не было ни ненависти к нему, ни пренебрежения к его присутствию. Напротив, наш поэт обладал слишком большой дозой здравого смысла и слишком потертой одеждой, чтобы не оценить того, что намеки его пролога, а в особенности горячие похвалы дофину, сыну Льва Франции, будут услышаны святейшим ухом. Но у благородных поэтических натур расчет никогда не стоит на первом плане. Если обозначить совокупность всех достоинств и недостатков поэта цифрой десять и подвергнуть это целое тщательному химическому анализу, разложив его на составные части, то, вероятно, можно было бы установить, как говорит Рабле, что на девять десятых самолюбия приходится всего едва десятая корыстолюбия. А в ту минуту, как отворилась дверь эстрады, процент самолюбия Гренгуара, польщенного восхищением публики, так разросся, что совершенно похоронил под собой ту маленькую частичку корысти, которую мы только что обнаружили в натуре поэта вообще. Впрочем, эта частичка есть тот реальный человеческий вес, без которого поэт никогда бы не прикасался к земле, а парил бы в воздухе.

Гренгуар наслаждался, видя, чувствуя и как бы осязая все, правда, далеко не блестящее, собрание, которое изумлялось, цепенело и, казалось, задыхалось от нескончаемых тирад, сыпавшихся на него из каждой части его эпиталамы. Я утверждаю, что Гренгуар сам разделял всеобщий восторг и в полную противоположность Лафонтену, который, присутствуя при представлении своей комедии «Флорентинец», выкрикнул: «Какой это болван написал такую дрянь?» – он, наоборот, готов был спросить своего соседа: «Кем написан этот шедевр?» Можно представить себе поэтому, какое впечатление произвело на него шумное и неуместное появление кардинала.

Его опасения полностью оправдались. Прибытие его преосвященства всполошило всю аудиторию. Все головы повернулись к эстраде. Поднялся страшный шум. «Кардинал! Кардинал!» – раздавалось со всех сторон. И несчастный пролог был прерван во второй раз.

Кардинал на минуту остановился у входа на эстраду и довольно равнодушно оглядел зрителей. Шум усилился, каждому хотелось получше рассмотреть кардинала; каждый вытягивал шею и клал голову на плечо соседа.

Это было действительно очень важное лицо, и взглянуть на него стоило всякого другого зрелища. Карл, кардинал Бурбонский, архиепископ и граф Лионский, примат Галльский, состоял в родстве и с Людовиком XI, на старшей дочери которого был женат его брат, синьор Пьер Божэ, и с Карлом Смелым по линии своей матери, Анны Бургундской. Отличительной чертой примата Галльского было то, что по натуре это был настоящий придворный, преклонявшийся перед властью. Можно представить себе, сколько затруднений вытекало для него из этого двойного родства и с каким трудом приходилось ему лавировать между подводными камнями, чтобы не натолкнуться ни на Людовика XI, ни на Карла – на Сциллу и Харибду, уже погубивших герцога Немурского и коннетабля Сен-Поля. К счастью, ему удалось избегнуть опасностей и благополучно достигнуть Рима. Но хотя теперь он и был у пристани или, вернее, именно поэтому, он не мог без тревоги вспоминать о препятствиях, встречавшихся ему в его политической жизни, так долго исполненной борьбы и труда.

²¹ Конти.

Он имел обыкновение повторять, что 1476 год был для него «и черным и белым»: в этот год умерли его мать, герцогиня Бурбонская, и его двоюродный брат, герцог Бургундский; второй траур был для него утешением после первого.

Впрочем, это был довольно добродушный человек. Он вел веселую жизнь кардинала, с удовольствием попивал королевское вино Шальо, благосклонно относился к Ришарде ля Гармуаз и к Томасе ля Сайярд, гораздо охотнее подавал милостыню молодым девушкам, чем старухам, и благодаря всему этому пользовался большой популярностью у парижан. Он являлся всюду в сопровождении целого штата епископов и аббатов знатного происхождения, любезных, веселых, готовых при случае покутить. И часто разряженные прихожанки Сен-Жерменского предместья, проходя вечером мимо ярко освещенных окон Бурбонского дворца, бывали возмущены, слыша, как те же самые голоса, которые пели днем в церкви, теперь при звоне стаканов распевали вакхическую песню Бенедикта XII, Папы, прибавившего третью корону к тиаре: «*Bibamus paraliter*»²².

Должно быть, именно благодаря этой вполне заслуженной популярности толпа не встретила кардинала шиканьем, несмотря на то что была так враждебно настроена против него всего несколько минут тому назад, да еще нисколько не расположенная относиться с уважением к кардиналу в тот самый день, как ей самой предстояло выбирать себе папу. Но парижане не злопамятны. Они заставили начать представление, не дожидаясь прибытия его преосвященства, и эта победа удовлетворила их. Да к тому же кардинал Бурбонский был очень красив, на нем была великолепная красная мантия, которая очень к нему шла. Значит, на его стороне были все женщины и, следовательно, лучшая часть зрителей. Ведь и в самом деле было бы несправедливо и бестактно шикать кардиналу за то только, что он немножко опоздал, когда он такой красивый и к нему так идет его красная мантия.

Он вошел и поклонился присутствующим с традиционной улыбкой, которая всегда появляется у высокопоставленных лиц при обращении к народу, потом медленно направился к своему красному бархатному креслу с рассеянным видом человека, думающего о чем-то постороннем. Вслед за ним на эстраду вошла вся его свита, весь его, как выразились бы в наши дни, генеральный штаб, состоящий из епископов и аббатов, отчего еще усилились волнение и любопытство толпы. Всякий знавший хоть одного из этих духовных лиц спешил указать на него и назвать его. Вот, насколько я помню, марсельский епископ Алодэ, вот премикарий Сен-Дени; вот Роберт де Леспинас – аббат Сен-Жермен-де-Пре, этот распутный брат любовницы Людовика XI. Все напропалую путали имена и принимали одно лицо за другое. Студенты же ругались вовсю. Это был их день, их праздник шутов, сатурналия, ежегодная оргия студентов и причетников. Всякое безумство считалось в этот день дозволенным, всякая дерзость – простибельной. К тому же в толпе находились такие зачинщики, как Симона Четыре Ливра, Агнеса Треска, Розина Козлоногая. Для каждого соблазном было побраниться и безнаказанно покошунствовать в такой исключительный день, в таком исключительном обществе священников и уличных девок одновременно. И они не давали маху; среди всеобщего шума раздавались неистовые проклятия и гнусные выкрики всех тех развязавшихся языков студентов и причетников, которые в обычное время сдерживались страхом перед раскаленным железом Святого Людовика. Бедный Людовик Святой! Какие непристойности позволяли они себе в самом его дворце! Каждый из них выбрал себе на эстраде одну из сутан – черную, серую, белую или фиолетовую – и изощрялся над ней в своем остроумии. А Жан Фролло де Молендино, в качестве архидьяконского брата, смело набросился на красную мантию и, устремив на кардинала свои дерзкие глаза, распевал во все горло:

²² «Будем пить, как Папа» (лат.).

*Sapa repleta mero!*²³

Все эти насмешки и остроты, которые мы описываем не приукрашивая, в назидание читателю, сливались с гулом толпы и исчезали в нем, не доходя до эстрады. Впрочем, кардинала это и не тронуло бы, настолько уже вошла в обычай полная свобода того дня. Да ему было и не до того. У него была своя забота, и его физиономия целиком выражала ее – то были фламандские послы, взошедшие на эстраду почти одновременно с ним.

Кардинал не был глубоким политиком. Его мало интересовало, каковы будут последствия брака между его кузиной, Маргаритой Бургундской, и кузеном Карлом, дофином венским, долго ли продолжится неискреннее примирение герцога Австрийского с королем французским, как примет английский король пренебрежение, с которым отнеслись к его дочери. Нет, все эти вопросы не особенно интересовали его, и он очень спокойно пил каждый вечер вино Шальо, подававшееся к королевскому столу. Ему и в голову не приходило, что несколько бутылок этого самого вина, только немножко приправленного доктором Куаксье, будут любезно предложены Людовиком XI Эдуарду IV и в один прекрасный день избавят Людовика XI от Эдуарда IV.

Достопочтенное посольство герцога Австрийского тревожило кардинала не в политическом, а совсем в другом отношении. Мы уже говорили раньше, что ему было тяжело принимать этих послов. Он, Карл Бурбонский, должен был рассыпаться в любезностях перед какими-то мещанами; кардинал вынужден принимать светских старшин; ему, французу и веселому собеседнику, приходилось выносить общество неотесанных фламандцев, которые молча тянут пиво. И все это он принужден был проделывать публично. Никогда еще не случалось ему играть такой скучной роли в угоду королю.

²³ Голова, наполненная вином (*лат.*).



Карл де Бурбон (1523–1590) – французский кардинал, архиепископ Руана, первый принц крови и командор ордена Святого Духа (1579). После смерти последнего из Валуа (1589) провозглашен Католической лигой королем Франции под именем Карла X, но реально не правил.

«Для каждого человеческого общества наступает пора, когда священный символ под давлением свободной мысли изнашивается и стирается, когда человек ускользает от внимания священнослужителя, когда опухоль философских теорий и государственных систем разъедает лик религии»

(Виктор Гюго)

Но когда привратник громко провозгласил: «Господа послы герцога Австрийского», кардинал с самой приветливой улыбкой – он отлично умел владеть собой – обернулся к двери. Нечего и говорить, что глаза всех в зале обратились туда же.

На эстраду начали входить попарно, со степенной важностью, представлявшей резкий контраст с оживлением духовной свиты Карла Бурбонского, сорок восемь послов Максимилиана Австрийского. Во главе их шли: преподобный отец Жеан, аббат Сен-Бартенский, канцлер ордена Золотого Руна, и Иаков де Гуа, сьер Доби, главный судья Гента. В зале наступила тишина, прерываемая заглушенным смехом, когда привратник провозглашал смешные имена и титулы фламандцев, невозможно коверкая их. Тут были: мэтр Лоис Релоф, старшина города Лувена; мессир Клайс Этюальд, старшина города Брюсселя; мессир Поль Баест, сьер Вуармиэль, президент Фландрии; мэтр Жеан Коллегенс, бургомистр города Антверпена; мэтр Георг Мер, главный старшина города Гента; мэтр Гельдольф ван дер Геге, дворянский старшина того же города, и сьер Борбок, и Жеан Пиннок, и Жеан Димаэрзель и т. д. и т. д. – судьи, старшины, бургомистры; бургомистры, старшины, судьи – серьезные, важные, чопорные, разряженные в бархат и шелк, в черных бархатных шапочках, украшенных кипрскими золотыми кистями. Впрочем, у всех этих фламандцев были славные лица, спокойные и строгие, того типа, который обессмертил Рембрандт на темном фоне своего «Ночного дозора». Стоило только взглянуть на них, чтобы убедиться, что Максимилиан Австрийский имел полное основание «всецело довериться» послам, как он выразился в своем манифесте, «полагаясь на их здравый смысл, мужество, опытность и добросовестность».

Только один из них составлял исключение. У него было умное, хитрое лицо обезьяны и дипломата. Кардинал сделал три шага к нему навстречу и низко поклонился, несмотря на то что это был только Гильом Рим, советник и пенсионарий города Гента.

Немногие знали тогда, что представлял собой Гильом Рим. Редкий гений, который во время революции, вероятно, с блеском выплыл бы на поверхность событий, но в пятнадцатом веке был принужден заниматься подпольными интригами и – как выразился герцог Сен-Симон – «жить в подкопах». Впрочем, он был оценен как первый «подкапыватель» Европы Людовиком XI. Гильом Рим орудовал запросто у Людовика XI, не раз исполняя его секретные поручения. Но толпа, собравшаяся в зале, не подозревала этого и удивлялась, с какой стати так разлюбезничался кардинал с каким-то жалким фламандским советником.

IV. Мэтр Жак Коппеноль

В то время как пенсионарий города Гента и его преосвященство обменивались низкими поклонами и произносимыми вполголоса любезностями, какой-то человек высокого роста, с широким лицом и могучими плечами выступил вперед, чтобы войти одновременно с Гильомом Римом. Он напоминал бульдога, пробирающегося за лисицей. Его войлочная шапка и кожаная куртка казались пятном среди бархатных и шелковых одежд. Привратник, полагая, что это конюх, зашедший сюда по ошибке, заступил ему дорогу.

– Постой, любезный, – сказал он, – здесь входа нет!

Человек в кожаной куртке оттолкнул его плечом.

– Что нужно этому болвану? – воскликнул он таким громким голосом, что весь зал встрепенулся и стал слушать. – Разве ты не видишь, что и я принадлежу к посольству?

– Ваше имя? – спросил привратник.

– Жак Коппеноль.

– Звание?

– Чулочник в Генте, под вывеской «Три цепочки».

Привратник попятился. Докладывать о старшинах и бургомистрах еще куда ни шло, но о чулочнике – это уж слишком. Кардинал был как на иголках. Народ слушал и смотрел. Вот уже два дня, как его преосвященство старался по мере сил отшлифовать этих фламандских медведей, чтобы сделать их более представительными в обществе, и теперь все было испорчено.

Между тем Гильом Рим подошел к привратнику и со своей лукавой улыбкой вполголоса сказал ему:

– Доложите: мэтр Жак Коппеноль, клерк совета старшин города Гента.

– Привратник, – громко повторил кардинал, – доложите: мэтр Жак Коппеноль, клерк старшин славного города Гента.

Это была ошибка. Гильом Рим, действуя осторожно и незаметно, наверное, уладил бы дело; теперь же Коппеноль услышал слова кардинала.

– Нет, черт побери! – воскликнул он своим громовым голосом. – Доложи: Жак Коппеноль, чулочник. Слышишь? Только это – ни больше ни меньше. Черт возьми! Чулочник – что же в этом зазорного! Да сам эрцгерцог не раз искал свою перчатку в моем товаре.

Раздался взрыв хохота и рукоплесканий. В Париже сейчас же поймут шутку и оценят ее по достоинству. Да к тому же Коппеноль был из народа, как и вся публика в зале. Благодаря этому сближение между ним и зрителями произошло мгновенно. Гордая выходка фламандского чулочника, оскорбив придворных, пробудила в душе всех плебеев чувство собственного достоинства, еще смутное и подсознательное в пятнадцатом веке. Этот Коппеноль, равный им по происхождению, не уступил кардиналу. И это было очень приятно жалким беднякам, привыкшим относиться с глубоким уважением и покорностью даже к слугам сержанта судьи аббатства Святой Женевиевы, потому что этот судья был шлейфоносцем кардинала.

Коппеноль гордо поклонился кардиналу, и тот вежливо ответил на поклон всемогущего горожанина, которого боялся даже Людовик XI. Гильом Рим, этот «умный и хитрый человек», по выражению Филиппа Коммина, с улыбкой насмешки и превосходства следил за ними в то время, как они возвращались на свои места. Кардинал был смущен и озабочен; Коппеноль смотрел спокойно и гордо. Он, наверное, раздумывал теперь о том, что его звание торговца, в конце концов, не хуже любого другого титула и что Мария Бургундская, мать той самой Маргариты, которую он приехал сюда сватать, гораздо меньше боялась бы его, если бы он был кардиналом, а не торговцем. Не кардинал взбунтовал жителей Гента против фаворитов дочери Карла Смелого; не кардинал убедил толпу выполнить свое намерение, несмотря на мольбы и слезы принцессы фландрской, пришедшей к подножию эшафота и умолявшей народ пощадить ее любимцев. Чулочнику стоило только шевельнуть рукой, чтобы с плахи скатились головы двух светлейших сановников, Ги Эмберкура и канцлера Вильгельма Гугоне!

Однако бедного кардинала ждала еще одна неприятность. Он попал в дурное общество, и ему пришлось испить горькую чашу до дна.

Читатель, может быть, не забыл дерзкого нищего, который, как только начался пролог, взобрался на край кардинальской эстрады. Прибытие высоких гостей не заставило Клопена спуститься вниз, и в то время как прелаты и посланники, набившись на эстраду, как настоящие фламандские сельди в бочонок, усаживались на свои места, он преспокойно скрестил ноги на карнизе. Сначала никто не заметил этой дерзости, так как все были заняты другим. А Клопен, со своей стороны, не обращал никакого внимания на то, что делалось в зале. Он с беззаботностью неаполитанца покачивал головой и время от времени, несмотря на шум, начинал по привычке тянуть: «Подайте Христа ради!» И без всякого сомнения, только он один из всего собрания не удостоил повернуть голову, когда Коппеноль заспорил с привратником. Гентский чулочник, уже успевший заслужить сочувствие всего зала, прошел в первый ряд и случайно сел как раз над тем местом, где приютился нищий. Каково же было всеобщее удивление, когда фламандский посол, пристально взглядевшись в нищего, дружески хлопнул его по плечу, покрытому лохмотьями! Клопен обернулся, с изумлением взглянул на посла и, по видимому, узнал его, так как лица их обоих просветлели. Потом, не обращая никакого внимания на устремленные на них со всех сторон взгляды, чулочник и нищий начали тихонько разговаривать, держа друг друга за руки, причем лохмотья Клопена Труйльфу на обтянутой золотой парчой эстраде казались гусеницей, вползшей на апельсин.

Эта неожиданная сцена вызвала такой смех и такое безудержное веселье в публике, что кардинал не мог этого не заметить. Он наклонился, но так как с его места были только чуть-чуть видны лохмотья Труйльфу, то ему, естественно, пришло в голову, что нищий выпрашивает милостыню.

– Господин дворцовый старшина! – воскликнул он, возмущенный такой наглостью. – Велите-ка бросить этого негодяя в реку!

– Помилосердствуйте, ваше преосвященство! – сказал Коппеноль, не выпуская руки Клопена. – Это мой друг!

– Bravo! Bravo! – закричала толпа.

С этой минуты мэтр Коппеноль в Париже, как и в Генте, вошел «в большое доверие у народа, так как люди такого покроя, – говорит Филипп де Коммин, – входят у народа в доверие, когда они держат себя столь бесцеремонно».

Кардинал закусил губу и, наклонившись к своему соседу, аббату Святой Женеьевы, вполголоса сказал:

– Удивительных, однако, послов отправил к нам эрцгерцог, чтобы возвестить о прибытии принцессы Маргариты.

– Вы, ваше преосвященство, чересчур любезны с этими фламандскими свиньями. *Margaritam ante porcos*²⁴.

– А не лучше ли так: *Porcos ante Margaritam*?²⁵ – с улыбкой сказал кардинал.

Вся свита в сутанах пришла в восторг от такой игры слов. Это несколько утешило кардинала. Он рассчитался с Коппенолем – его шутка тоже имела успех.

Теперь мы позволим себе спросить тех из наших читателей, которые умеют обобщать образы и идеи, вполне ли ясно представляют они себе, какое зрелище являл громадный параллелограмм зала в тот момент, о котором идет речь.

Посреди западной стены возвышается великолепная, обтянутая золотой парчой эстрада; через маленькую стрельчатую дверь на нее входят один за другим важные посетители, о которых докладывает резким голосом привратник. На передних скамьях уже разместились разодетые в шелк и бархат послы. На эстраде все тихо и чинно, а по обе ее стороны и прямо перед ней шумит и волнуется внизу громадная толпа. Тысячи глаз устремлены на каждого входящего на эстраду, тысячи уст повторяют шепотом его имя. Зрелище действительно очень любопытное и вполне заслуживающее внимания публики. Но что же это там, в самом конце зала? Что это за подмостки, на которых кривляются четыре пестро одетые фигуры? Кто этот бледный человек в потертой одежде, стоящий около подмостков? Увы, любезный читатель, – это Пьер Гренгуар и его пролог.

Мы совсем было забыли о нем.

А именно этого-то он и боялся.

С той минуты, как на эстраду вошел кардинал, Гренгуар не переставал тревожиться за судьбу своего пролога. Увидев, что актеры нерешительно остановились, он велел было им продолжать и говорить громче; потом, видя, что никто не слушает, остановил их и в продолжение четверти часа, пока продолжался перерыв, метался из стороны в сторону, топал ногами, просил Жискету и Лиенарду убеждать своих соседей требовать продолжения пролога. Напрасный труд. Все не отрывая глаз смотрели на кардинала, посланников и эстраду. Полагаем – к сожалению, приходится это признать, – что пролог успел уже порядочно надоесть публике к тому времени, как его прервал кардинал. Да к тому же и на эстраде, и на мраморном помосте разыгрывался один и тот же спектакль: борьба между Крестьянством и Духовенством, Купечеством и Дворянством. И большинству было гораздо приятнее, волнуясь и толкая друг друга,

²⁴ Жемчуг перед свиньями (*лат.*).

²⁵ Свиньи перед жемчугом (Маргаритой) – игра слов.

смотреть на ту сцену, где это столкновение между сословиями происходило на самом деле, где действовали и боролись настоящие представители этих сословий в лице фламандских послов, духовной свиты кардинала, самого кардинала в его мантии и Коппенюля в его одеянии, чем слушать актеров, нарумяненных, декламирующих стихи и в известном смысле похожих на чучел в своих белых и желтых туниках, в которые их нарядил Гренгуар.

Однако к тому времени, как шум немножко стих, наш поэт придумал средство, которое, по его мнению, могло спасти все.

– Сударь, – обратился он к одному из своих соседей, толстяку с добродушным лицом, – а что, если бы начать снова?

– Что? – спросил тот.

– Что? Да, конечно, мистерию, – ответил Гренгуар.

– Как знаете, – отвечал сосед.

Этого далеко не полного одобрения оказалось вполне достаточно для Гренгуара. Он влез в толпу и начал кричать как можно громче:

– Начинайте мистерию сначала! Начинайте сначала!

– Черт возьми! – воскликнул Жан де Молендино. – С чего это они так разорались на том конце? (Гренгуар шумел и кричал за четверых.) Послушайте, братцы, ведь мистерия окончена? А они хотят начинать ее сначала. Это несправедливо!

– Несправедливо! Несправедливо! – закричали студенты. – Долой мистерию! Долой!

Но Гренгуар не сдался и начал кричать еще громче:

– Начинайте! Начинайте!

Эти крики привлекли внимание кардинала.

– Господин дворцовый судья, – обратился он к высокому человеку в черной одежде, стоявшему в нескольких шагах от него, – что эти бездельники подняли за возню, точно бес перед заутреней?

Дворцовый судья принадлежал, если можно так выразиться, к семейству амфибий и был чем-то вроде летучей мыши судебного сословия, не то крысой, не то птицей, судьей и вместе с тем солдатом.

Он подошел к его преосвященству и, боясь возбудить его неудовольствие и заикаясь от страха, объяснил ему, в чем дело. Полдень наступил до прибытия его преосвященства, народ начал волноваться и требовать, чтобы начинали представление, а потому актеры вынуждены были начать, не дожидаясь его преосвященства.

Кардинал расхохотался.

– Клянусь честью, – воскликнул он, – и ректору университета не мешало бы поступить так же. Как вы полагаете, мэтр Гильом Рим?

– Ваше преосвященство, – отвечал Рим, – будем довольны и тем, что пропустили хотя половину комедии. Во всяком случае, мы в выигрыше.

– Дозволит ли ваше преосвященство продолжать представление? – спросил судья.

– Продолжайте, продолжайте – мне все равно. Я пока почитаю мой требник.

Судья подошел к краю эстрады и, подняв руку, чтобы водворить тишину, закричал:

– Горожане, крестьяне и жители новых городов! Чтобы удовлетворить тех, кто желает слушать с самого начала, и тех, кто не желает слушать совсем, его преосвященство приказывает продолжать представление.

Обе стороны принуждены были покориться. Но ни автор, ни зрители не были довольны решением кардинала и долго не могли простить ему этого.

Актеры снова принялись декламировать стихи, и Гренгуар надеялся, что хоть конец его произведения будет выслушан внимательно. Но и эта надежда оказалась, как водится, обманчивой. Тишина действительно мало-помалу водворилась в зале, но Гренгуар не заметил, что эстрада была далеко не полна в ту минуту, как кардинал велел продолжать представление, вслед за

фламандскими послами стали появляться все новые лица из их свиты. Имена и титулы ново-прибывших, выкликаемые пронзительным голосом привратника, врвались совсем некстати в диалог актеров. Пусть читатель представит себе, что во время театрального представления раздаются между двумя строфами и даже отдельными стихами такие возгласы:

– Мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор духовного суда!

– Жан де Гарлэ, начальник ночной стражи города Парижа!

– Мессир Галио де Женуалак, рыцарь!

– Сеньор де Брюссак, начальник королевской артиллерии!

– Мэтр Дрэ-Рагье, смотритель королевских лесов, вод и земель во Франции, Шампани и Бри!

– Мессир Луи де Гравиль, рыцарь, советник и стольник короля, адмирал Франции, страж Венсенского леса!

– Мессир Дени ле Мерсье, начальник Дома слепых в Париже!

И т. д. и т. д.

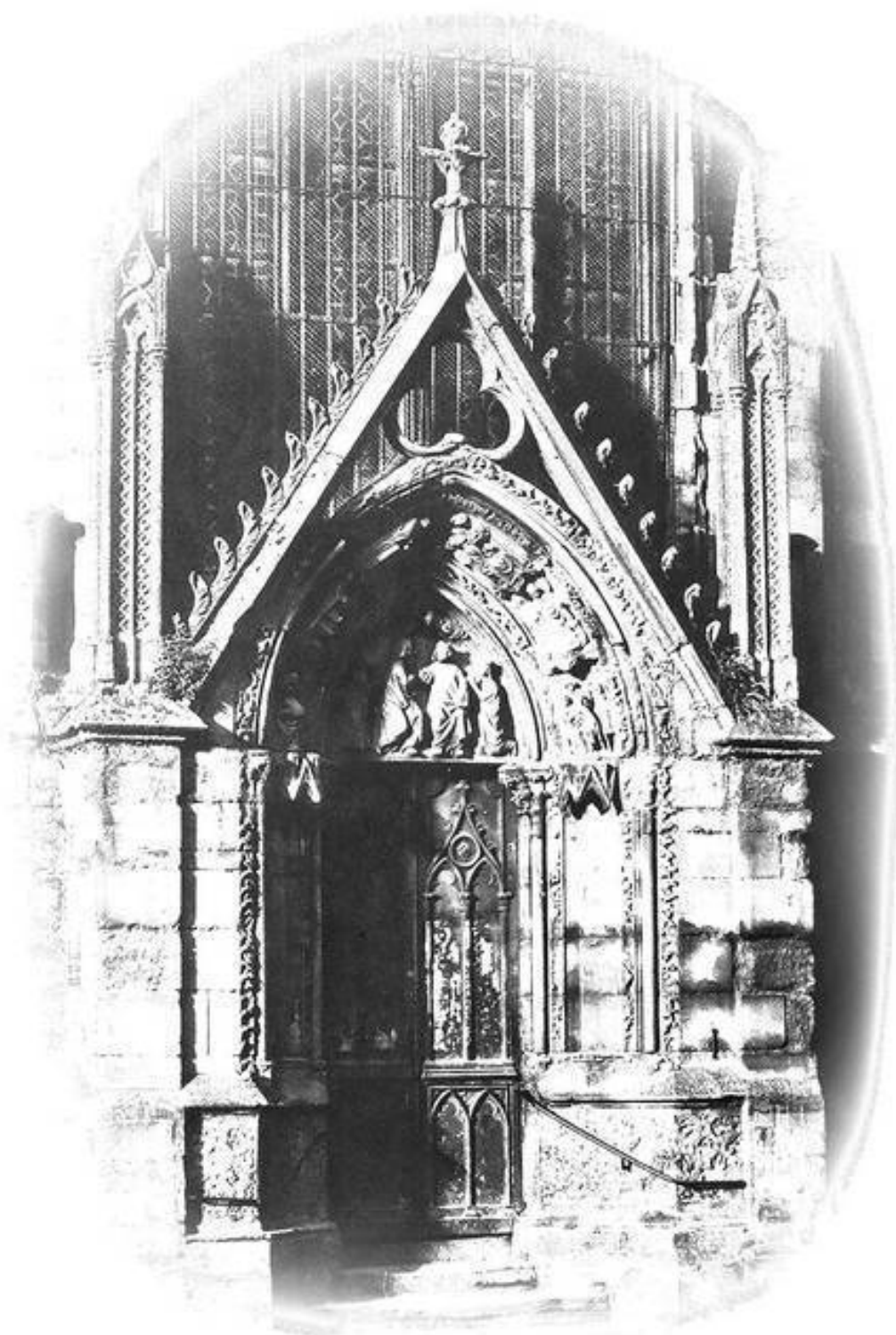
Это становилось невыносимым.

Такой странный аккомпанемент, из-за которого не было никакой возможности следить за ходом пьесы, тем более возмущал Гренгуара, что занимательность его мистерии, как он думал, постепенно возрастала и его произведению недоставало лишь одного – внимания слушателей.

И действительно, трудно было представить себе более остроумный и драматический сюжет. Четыре действующих лица пролога разливались в жалобах на свое затруднительное положение, как вдруг сама Венера, *vera, incessu patuit dea*²⁶, в красивой одежде с гербом Парижа, предстала перед ними. Она сама пришла за дельфином, обещанным прекраснейшей из женщин. Юпитер, грома которого гремели в одеальной, очевидно, настаивал на исполнении ее требования, и богиня уже готова была завладеть дельфином, или, иначе говоря, выйти замуж за дофина, когда совсем молоденькая девушка в белом шелковом платье и с маргариткой в руке (прозрачный намек на Маргариту Фландрскую) явилась оспаривать его у Венеры. Театральный эффект и неожиданная перемена. После долгого состязания Венера, Маргарита и все остальные решили обратиться к суду Девы Марии. В пьесе была еще одна прекрасная роль – короля Месопотамии, дон Педро. Но, вследствие постоянных перерывов, трудно было сообразить, зачем, собственно, понадобился этот король. И все они взбирались на сцену по лестнице.

Но, к сожалению, публика не поняла и не оценила ни одной из красот пьесы. Казалось, с прибытием кардинала какая-то невидимая волшебная нить притянула все взоры от мраморного стола к эстраде, от южной стены залы – к западной. И ничто не могло разрушить очарования. Все глаза были устремлены на эстраду, и вновь прибывшие лица, их проклятые имена, их наружность и костюмы непрерывно отвлекали внимание.

²⁶ Самая поступь обнаруживает богиню (*лат.*) (Вергилий).



Красная дверь – *Porte Rouge*. Этот скромный дверной проем на северной стороне хоров называется «Красная дверь», благодаря яркому цвету своих створок. Он был возведен под руководством архитектора Пьера де Монтрея во второй половине XIII века и использовался в качестве прямого прохода между обителью и собором. Красная дверь соединяла монастырь, где жили каноники и хористы собора, для облегчения их доступа в Нотр-дам де Пари.

Это было ужасно. Кроме Жискеты и Лиенарды, которые на минуту оборачивались к сцене, когда Гренгуар дергал их за платья, и терпеливого толстяка, его соседа, положительно никто не слушал и не смотрел на представление бедной покинутой моралите. Гренгуар, оборачиваясь взглянуть на зрителей, видел только профили.

С какой горечью смотрел он, как рушится мало-помалу возведенное им здание поэзии и славы! Рушится из-за невнимания тех самых людей, которые так нетерпеливо желали услышать его произведение, что начали даже угрожать судье. А теперь, когда желание их исполнилось, они не обращали никакого внимания на пьесу, которая началась при таких единодушных рукоплесканиях. Вечный прилив и отлив благосклонности толпы. И подумать только, что эта же самая толпа чуть не повесила сержантов судьи! О, как ему хотелось бы пережить опять эти блаженные минуты!

Нестерпимые выкрики привратника наконец прекратились. Все уже собрались, и Гренгуар мог наконец свободно вздохнуть. Актеры тоже ободрились, и все шло прекрасно, как вдруг Коппеноль встал и среди всеобщего внимания произнес возмутительную речь:

– Господа горожане и дворяне Парижа! Клянусь Богом, я не понимаю, что мы делаем здесь. Я вижу вон в том углу, на подмостках, каких-то людей, которые как будто собираются драться. Не знаю, может быть, это и называется по-вашему мистерией, но, по-моему, тут нет ничего забавного. Они только ссорятся, и больше ничего. Вот уже четверть часа, как я жду первого удара, а они все не начинают драться. Это просто трусы – они бьют друг друга не кулаками, а словами. Вам следовало бы послать за бойцами в Лондон или Роттердам. Они показали бы вам, как следует драться; даже на площади слышны были бы их удары. А это какие-то жалкие актеры. Хоть бы они проплясали мавританский танец или придумали еще что-нибудь забавное. Да, это совсем не то, чего я ожидал. Мне сказали, что здесь будет праздник шутов и станут выбирать папу. У нас в Генте тоже выбирают папу шутов, – в этом мы не отстали от других. Вот как это бывает у нас. Мы собираемся целой толпой, как и вы здесь. Потом каждый по очереди просовывает голову в какое-нибудь отверстие и делает самую ужасную гримасу, какую только может. И тот, чья гримаса выйдет, по мнению публики, страшнее всех остальных, выбирается папой. Это очень забавно. Хотите выбрать сегодня папу по-нашему? Ручаюсь, что это, во всяком случае, будет веселее, чем слушать этих болтунов. Если они хотят, мы, пожалуй, примем в игру и их. Что вы скажете на это, господа горожане? Здесь, в зале, найдется достаточно безобразных лиц – и женских и мужских. Значит, есть надежда, что мы увидим вдоволь забавных гримас и повеселимся по-фламандски.

Гренгуар хотел было возразить на эту речь, но от изумления, негодования и гнева не мог произнести ни слова. К тому же предложение Коппеноля было с таким восторгом принято горожанами, польщенными титулом «дворян», что нечего было и думать о сопротивлении. Оставалось только покориться судьбе. И бедный Гренгуар закрыл лицо руками. У него, к сожалению, не было плаща, который он мог бы набросить себе на голову, как Агамемнон Тиманта.

V. Квазимодо

В одно мгновение все было готово, чтобы осуществить мысль Коппеноля. Горожане, студенты, клерки – все принялись за работу. Гримасы решили делать в маленькой капелле, занимавшей конец зала, напротив мраморного помоста. В красивой розетке над входом выбили

одно стекло, так что образовалось круглое отверстие, в которое конкуренты должны были просовывать голову. Для того чтобы добраться до него, стоило только вскарабкаться на две бочки, которые где-то добыли и взгромоздили одну на другую. Было условлено, чтобы каждый кандидат в папы, будь то мужчина или женщина (папа мог быть и женского пола), чтобы произвести свежее впечатление своей гримасой, ждал в капелле, закрыв лицо до тех пор, пока не наступит его очередь высунуться в отверстие. В одну минуту капелла наполнилась конкурентами, и дверь затворилась за ними.

Коппеноль со своего места отдавал приказания, распоряжался всем, устраивал все. В зале поднялись страшный шум и суета. Кардинал, возмущенный всем этим не меньше Гренгуара, сославшись на неотложные дела и вечернюю службу, поспешил уйти вместе со своей свитой. И вся эта толпа, которую так взволновало его прибытие, теперь даже не заметила его ухода. Один только Гильом Рим отметил бегство его преосвященства.

Внимание толпы обратилось в другую сторону; оно в этот день обращалось вокруг зала, как солнце вокруг земли. Сначала оно было устремлено на один конец зала, потом перешло на середину, а оттуда на другой конец. Мраморный помост и парчовая эстрада уже получили свое, – наступила очередь капеллы Людовика XI. Теперь открывалось широкое поле для всяких безумств: в зале остались только фламандцы и сброд.

Начались гримасы. Первая показавшаяся в отверстии физиономия с вывернутыми веками, разинутым, точно пасть, ртом и собранным в складки лбом, похожим на гусарские сапоги времен империи, возбудила такой неудержимый хохот, что Гомер, наверное, принял бы этих крестьян и горожан за богов. Между тем большой зал ничуть не походил на Олимп, и бедный Юпитер Гренгуара знал это лучше всякого другого. За первой страшной рожей появилась другая, потом третья, а хохот и восхищение толпы все увеличивались. В этом зрелище было что-то безумное, какое-то могучее упоение и очарование, о котором трудно составить понятие читателю нашего времени. Вообразите себе, что перед вами проходит целая серия лиц, представляющих собой все геометрические фигуры, от треугольника до трапеции и от конуса до многогранника; выражения всех человеческих чувств, от гнева до сладострастия; все возрасты, от морщин новорожденного до морщин умирающей старухи; все религиозные фантазмагии, от Фавна до Вельзевула; все профили животных, от пасти до клюва, от кабаньей головы до мордочки лисицы. Представьте себе, что все чудовищные изваяния Нового моста, эти кошмары, воплощенные в камень рукой Жермена Пилона, вдруг ожили и устремили на вас свои сверкающие глаза, – вообразите себе, что перед вами проходят все маски венецианского карнавала, весь человеческий калейдоскоп.

Оргия становилась чисто фламандской. Сам Тенирс не мог бы дать о ней вполне четкого представления. Это была превращенная в вакханалию битва Сальватора Розы. В зале не было теперь ни студентов, ни послгов, ни горожан, ни мужчин, ни женщин, ни Клопена Труйльфу, ни Жилля Лекорню, ни Марии Катрливр, ни Робена Пуспена. Все слились в общем безумии. Большой зал превратился как бы в громадное горнило бесстыдства и ликования, где каждый рот кричал, каждое лицо кривлялось, каждая фигура принимала странную позу. И все это ревело и выло. Невероятные лица, одно за другим показывавшиеся в отверстии розетки, были как бы пылающими головнями, бросаемыми в горящий костер. И из всей этой буйной толпы вырывался, как пар из громадного котла, резкий, пронзительный гул:

- Проклятье!
- Взгляни-ка на эту рожу!
- Ну, она ничего не стоит!
- А вот и другая!
- Гильомета Можерпюи, видишь эту бычачью морду? Ей не хватает только рогов. Не твой ли это муж?
- Подавай новую!

- Смотрите, смотрите – это что за гримаса?
- Эй! Это жульничество. Можно показывать только лицо.
- Это, наверное, проклятая Перетта Кальбот. Она способна на все.
- Bravo! Bravo!
- Я задыхаюсь!
- А у этого уши не могут пролезть!

И т. д. и т. д.

Нужно отдать справедливость нашему другу Жану. Среди этого шабаша он продолжал сидеть на верхушке своей колонны, как юнга на мачте. Он вел себя как бесноватый. Рот его был широко открыт, и из него вырывался крик, который не был слышен не потому, что его заглушал общий шум, а, вероятно, потому, что он был слишком высок и недоступен человеческому уху. Совер полагает, что это бывает при двенадцати тысячах колебаний, а Био – при восьми тысячах.

Что же касается Гренгуара, то после первой минуты оцепенения он пришел в себя и, вооружившись твердостью, решил не поддаваться.

– Продолжайте! – в третий раз сказал он своим говорящим машинам – актерам – и принялся ходить большими шагами около мраморного помоста.

Минутами ему приходило в голову подойти в свою очередь к розетке капеллы, хотя бы для того, чтобы доставить себе удовольствие – соорудить гримасу этому неблагодарному народу. Но он отгонял от себя эту мысль.

«Нет, – думал он, – такая месть недостойна меня. Будем бороться до конца. Поэзия обладает могущественным влиянием на народ. Я заставлю эту толпу вернуться ко мне. Посмотрим, что одержит верх – гримасы или поэзия!»

Увы! Он остался единственным зрителем своей пьесы. Теперь было еще хуже, чем раньше: оборачиваясь, он видел одни лишь спины.

Впрочем, я ошибаюсь. Лицо терпеливого толстяка, с которым Гренгуар советовался в критическую минуту, было обращено к сцене. Что же касается до Лиенарды и Жискетты, то они уже давно исчезли.

Гренгуар был тронут до глубины души верностью своего единственного слушателя. Он подошел к нему и заговорил с ним, подергав его сначала за руку, так как этот честный человек облокотился на балюстраду и слегка вздремнул.

– Благодарю вас, сударь, – сказал Гренгуар.

– За что же? – спросил толстяк, зевая.

– Я вижу, что вам надоел этот страшный шум, – он мешает вам слушать пьесу. Но будьте спокойны: ваше имя перейдет в потомство. Позвольте узнать, как вас зовут?

– Рено Шато, хранитель печати в парижском суде, к вашим услугам.

– Вы здесь единственный представитель муз, – сказал Гренгуар.

– Вы слишком любезны, сударь, – ответил хранитель судебной печати.

– Один только вы слушали пьесу как следует, – продолжал Гренгуар. – Как вы ее находите?

– Гм, гм! Она, право же, довольно забавна, – ответил толстяк, еще не совсем проснувшись.

Гренгуару пришлось удовольствоваться этой похвалой, так как гром рукоплесканий и оглушительные крики прервали их разговор. Папа шутов был выбран.

– Bravo! Bravo! Bravo! – ревела толпа.

И действительно, трудно было придумать что-нибудь великолепнее гримасы, красовавшейся сейчас в отверстии розетки. После всех пяти-шестиугольных безобразных рож, которые выглядывали оттуда, не достигая идеала уродливости, сложившегося в разгоряченном оргией воображении зрителей, только такая необыкновенная по своему безобразию гримаса могла

прельстить толпу и привести ее в восторг. Сам мэтр Коппеноль аплодировал, и даже бывший в числе конкурентов Клопен Труйльфу – а он был настолько безобразен, что мог соорудить ужаснейшую гримасу, – признал себя побежденным. Так же поступим и мы. Мы не беремся дать читателю понятие об этом лице с четырехгранным носом, ртом в виде подковы и раздвоенным подбородком. Над маленьким, в виде мешка, левым глазом этого уroda нависла щетинистая рыжая бровь, тогда как правый глаз совсем исчезал под громадной бородавкой; поломанные зубы были выщерблены, как зубцы на крепостной стене, а один из них выступал из-за растрескавшихся губ, как клык слона. Но еще труднее передать выражение этого ужасного лица – какую-то смесь злости, изумления и грусти. А теперь представьте себе, если можете, это чудовище.

Публика единодушно приветствовала его восторженными криками. Все бросились к капелле и с торжеством вывели оттуда папу шутов. Но тут изумление и восторг толпы дошли до крайних пределов. Гримаса была настоящим лицом.

Вернее, он весь представлял собой гримасу. Огромная голова с щетинистыми рыжими волосами; громадный горб на спине и поменьше на груди; страшно искривленные ноги, которые могли соприкоснуться только в коленях и напоминали два изогнутых серпа; громадные ступни, чудовищные руки и при всем этом безобразии что-то грозное, могучее и смелое во всей фигуре, представлявшей странное исключение из общего правила, требующего, чтобы сила, как и красота, вытекала из гармонии. Таков был папа, избранный шутами.

Казалось, это был разбитый и затем кое-как спаянный великан.

Когда этот циклоп показался на пороге капеллы – коренастый, почти одинаковый в ширину и высоту, в камзоле, наполовину красном, наполовину фиолетовом, затканном серебряными колоколенками, – толпа по этому камзолу, а в особенности по необыкновенному безобразию нового папы тотчас же узнала его.

– Это Квазимодо, звонарь! Это Квазимодо кривой! Квазимодо-горбун, из собора Богоматери! Квазимодо кривоногий! Bravo! Bravo!

У бедняка не было, как видно, недостатка в прозвищах.

– Берегитесь, беременные женщины! – закричали студенты.

– Или те, которые желают забеременеть! – прибавил Жан.

Женщины действительно закрыли лица руками.

– Господи, какая отвратительная обезьяна! – воскликнула одна из них.

– И он так же зол, как и уродлив, – подхватила другая.

– Это сам дьявол! – прибавила третья.

– Я, к несчастью, живу возле самого собора Богоматери и слышу, как он каждую ночь шатается по крыше.

– Вместе с кошками!

– Да, он всегда шляется по нашим крышам!

– И напускает на нас порчу через дымовые трубы!

– Как-то вечером он заглянул ко мне в окно. Я подумала, что это какой-то человек, и ужасно перепугалась.

– Я уверена, что он летает на шабаш. Раз он забыл свою метлу около моего дома.

– Безобразный горбун!

– Гнусная душонка!

– Тьфу!

Зато мужчины смотрели на горбуна с восхищением и восторженно рукоплескали ему.

А Квазимодо, породивший всю эту суматоху, продолжал стоять неподвижно около двери капеллы, серьезный и мрачный, позволяя любоваться собой.

Студент Робен Пуспен подошел слишком близко к нему и засмеялся ему в лицо. Квазимодо, не говоря ни слова, схватил его за пояс и отшвырнул шагов на десять в толпу.

Мэтр Коппеноль, восхищенный, приблизился к нему.

– Клянусь Богом, никогда в жизни не видал я такого великолепного безобразия! – воскликнул он. – Тебя стоило бы сделать папой не только в Париже, но и в Риме!

И, сказав это, он весело хлопнул его по плечу.

Квазимодо не шевельнулся.

– Ты как раз такой человек, с которым я был бы не прочь покутить, – продолжал Коппеноль. – И кутеж будет на славу, денег я не пожалею. Что ты на это скажешь?

Квазимодо молчал.

– Господи помилуй! – воскликнул башмачник. – Да ты глухой, что ли?

Квазимодо был действительно глух.

Между тем любезности Коппеноля начали, по-видимому, надоедать горбуну. Он вдруг повернулся к нему и так грозно заскрежетал зубами, что богатырь-фламандец попятился, как бульдог от кошки.

Толпа тоже отступила, так что около Квазимодо образовался пустой круг, радиусом не меньше шагов пятнадцати. А за этим кругом стояли любопытные, с уважением и страхом смотря на горбуна.

Какая-то старуха объяснила Коппенолю, что Квазимодо глух.

– Глух? – повторил, громко расхохотавшись, фламандец. – Клянусь Богом, лучше этого папы и не придумаешь!

– А, вот это кто! – воскликнул Жан, спустившись наконец с своего карниза, чтобы взглянуть на папу поближе. – Это звонарь моего брата, архидьякона. Здравствуй, Квазимодо!

– Этакый дьявол! – сказал Робен Пуспен, еще не успевший оправиться от смущения после своего падения. – Поглядишь на него – оказывается, он горбун; пойдет – видишь, что он кривоногий; посмотрит на вас – кривой; заговоришь с ним – он глух. Но почему же он молчит? Куда девал свой язык этот Полифем?

– Он говорит, когда захочет, – сказала старуха. – Он оглох от звона колоколов. Он не немой.

– Только этого ему и не хватает, – заметил Жан.

– Да еще один глаз у него лишний, – прибавил Робен Пуспен.

– Ну, нет, – рассудительно возразил Жан. – Кривому еще хуже, чем слепому: он знает, чего он лишен.

Тем временем, налюбовавшись на Квазимодо, нищие, слуги и воры-карманники отправились вместе со студентами за картонной тиарой и шутовской мантией папы шутов, которые хранились в шкафу судебных писцов. Квазимодо беспрекословно, с какой-то горделивой покорностью позволил одеть себя и посадить на пестрые носилки, которые подняли на плечи двенадцать человек из братства шутов. И выражение горькой, презрительной радости осветило мрачное лицо циклопа, когда он увидел под своими уродливыми ногами головы всех этих красивых, прямых, стройных людей. Потом шумная, оборванная толпа двинулась процессией, чтобы, по принятому обычаю, обойти сначала все внутренние галереи дворца и затем уже совершить прогулку по улицам и площадям города.

VI. Эсмеральда

С величайшим удовольствием можем объявить нашим читателям, что в продолжение всей этой сцены Гренгуар не сдавался и пьеса шла своим чередом. Актеры, которых он то и дело понукал, не умолкая, декламировали стихи, а он не переставал их слушать. Не обращая внимания на шум, он решил бороться до конца, все еще не теряя надежды привлечь внимание публики. Эта надежда оживилась, когда Квазимодо, Коппеноль и буйная свита папы шутов с оглушительным шумом вышли из зала и толпа бросилась за ними.

«Отлично, – подумал Гренгуар, – теперь все крикуны ушли».

К сожалению, «крикунами» оказалась вся публика, и зал в одно мгновение опустел.

Собственно говоря, кое-где у колонн еще осталось несколько зрителей. Это были старики, женщины и дети, утомленные всем этим шумом и гамом. Кроме того, несколько студентов сидели верхом на подоконнике и смотрели на площадь.

«Ну, что же? – подумал Гренгуар. – И этих достаточно, чтобы выслушать конец моей мистерии. Правда, их мало, но зато это самая избранная, самая образованная публика».

Через несколько минут выяснилось, что музыканты, которые при появлении «пресвятой девы» должны были заиграть симфонию – что, несомненно, произвело бы большой эффект, – почему-то молчат. Оказалось, что музыканты исчезли, их увлекла за собой шутовская процессия.

– Обойдемся без музыки, – стоически сказал Гренгуар.

Он подошел к кучке горожан, говоривших, как ему показалось, о его пьесе. Вот отрывок их разговора, который он услышал:

– Знаете вы, мэтр Шенето, наваррский особняк, принадлежавший господину Немуру?

– Знаю, это напротив Бракской часовни.

– Ну, так казна отдала его внаймы Гильому Александру, орнаментовщику, за шесть ливров восемь су в год.

– Господи, как наемная плата-то повышается!

«Увы! – со вздохом подумал Гренгуар. – Но, наверно, другие слушают мою пьесу».

– Товарищи! – крикнул вдруг один из студентов, сидевших на окне. – Эсмеральда! Эсмеральда на площади!

Это имя произвело магическое действие. Все оставшиеся в зале бросились к окнам, крича: «Эсмеральда! Эсмеральда!»

В то же время на площади раздался взрыв рукоплесканий.

«Что это еще за Эсмеральда? – подумал Гренгуар, с отчаянием сжимая руки. – Ах, господа! Теперь, как видно, пришла очередь окнам».

Он обернулся к мраморному помосту и увидел, что представление прекратилось. Наступила как раз та минута, когда должен был явиться Юпитер со своей молнией. А между тем Юпитер стоял неподвижно внизу, около одеваальной.

– Мишель Жиборн! – воскликнул рассвирепевший поэт. – Что ты там делаешь? Забыл, что ли, свою роль? Выходи скорее на сцену!

– Увы! – сказал Юпитер. – Какой-то студент унес лестницу!

Гренгуар взглянул на то место, где она стояла: действительно, ее не было. Всякое сообщение между завязкой и развязкой его пьесы было прервано.

– Негодяй! – пробормотал он. – Зачем же он взял лестницу?

– Чтобы посмотреть на Эсмеральду, – жалобно проговорил Юпитер. – Он сказал: «Вот лестница, которая стоит здесь зря!» – и утащил ее.

Это был последний удар; Гренгуар безропотно перенес его.

– Убирайтесь ко всем чертям! – крикнул он комедиантам. – Если заплатят мне, то и я заплачу вам.

И он ушел, понурился голову, но ушел последним, как храбро сражавшийся генерал, покидающий поле битвы.

– Что за буйное сборище ослов и дураков эти парижане! – ворчал он сквозь зубы, сходя вниз по извилистым лестницам дворца. – Они приходят слушать мистерию и не слушают ее! Они занимались всем на свете – Клопеном Труйльфу, кардиналом, Коппенемом, Квазимодо, чертом и дьяволом, но только не Пресвятой Девой! Знай я это, показал бы уж я вам пресвятых дев, болваны! А я? Вместо того чтобы видеть лица зрителей, я видел одни только спины! Я – поэт – провалился, как какой-нибудь аптекарь! Положим, Гомер просил милостыню в гре-

ческих поселках, а Овидий Назон умер в изгнании у москвитян... Пусть черт сдерет с меня кожу, если я понимаю, что хотели они сказать своей Эсмеральдой. И что это за слово? Как будто египетское.

Книга вторая



І. Сцилла и Харибда

В январе смеркается рано. На улицах было уже почти совсем темно, когда Гренгуар вышел из дворца. Эта темнота пришлась ему по душе. Ему хотелось уйти на какую-нибудь пустынную улицу и поразмыслить там на свободе: философ должен был наложить первую повязку на рану поэта. Впрочем, философия была теперь его единственным прибежищем, так как он даже не знал, где проведет ночь. После столь блистательного провала своей пьесы он не решался вернуться в помещение, которое занимал на улице Гренье, против Фуэнских ворот. Он за целые полгода задолжал своему хозяину, мэтру Гильому Ду-Сиру, и рассчитывал рас-

платиться с ним деньгами, полученными за пьесу от судьи. А долг был большой – целых двенадцать су! Ровно в двенадцать раз больше, чем стоило все его имущество, включая рубашку, шапку и панталоны.

Несколько минут стоял он около маленькой калитки тюрьмы Сен-Шапель, раздумывая о том, где бы провести ночь. Наконец он припомнил, что на прошлой неделе, проходя по улице Саватерн, видел около дома одного парламентского советника каменную подножку, устроенную для того, чтобы было удобнее садиться на мула. Он тогда же подумал, что она при случае могла бы служить отличной подушкой нищему или поэту. Возблагодарив Провидение, пославшее ему такую счастливую мысль, Гренгуар решил отправиться туда. Для этого ему нужно было пересечь Дворцовую площадь и углубиться в извилистый лабиринт старинных улиц – Бочарной, Суконной, Башмачной, Еврейской и т. д., которые еще до сих пор существуют, но только с девятиэтажными домами. Не успел он ступить на площадь, как туда хлынула процессия папы шутов. Она только что вышла из дворца и с оглушительными криками, зажженными факелами и музыкой неслась прямо на Гренгуара. Это зрелище вновь разбередило его уязвленное самолюбие; он поспешил удалиться. С болью сознавал он свою неудачу на театральном поприще, и все, напоминавшее ему о празднике, раздражало его и растравляло его рану. Он направился к мосту Сен-Мишель. Там бегали дети с горящими факелами и ракетами...



«Горбун из Нотр-Дама». Художник – Эме де Лему. 1844 г.

«Обладай наше зрение способностью видеть внутренний мир нашего ближнего, можно было бы гораздо вернее судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям»

(Виктор Гюго)

– Черт бы побрал все эти ракеты! – сказал про себя Гренгуар и повернул к мосту Шанж. У входа на мост на домах были вывешены три флага с нарисованными на них изображениями

короля, дофина и Маргариты Фландрской и шесть маленьких флагов с портретами герцога Австрийского, кардинала Бурбонского, синьора де Божэ, Жанны Французской, незаконнорожденного Бурбона и еще кого-то. Все это было освещено факелами. Толпа любовалась.

– Какой счастливчик этот живописец Жан Фурбо! – с глубоким вздохом сказал Гренгуар и повернулся. Прямо перед ним была улица, такая темная и пустынная, что там – как он надеялся – ему наконец удастся укрыться от всех отголосков и отблесков праздника. Гренгуар направился туда, через несколько минут нога его наткнулась на что-то, – он потерял равновесие и упал. Это была вязанка сучьев майского дерева, которую корпорация парламентских клерков поставила с утра около двери президента парламента в честь торжественного дня.

Гренгуар героически перенес эту новую неприятность. Он встал и пошел вдоль берега реки. Пройдя мимо гражданской и уголовной палат парламента и высоких стен королевских садов, по немощному берегу, где грязь доходила ему до лодыжек, он дошел до западной окраины города. Тут он остановился и несколько времени смотрел на пастуший островок, который теперь исчез под бронзовым быком Нового моста. Островок этот, отделенный от Гренгуара узкой полоской светлеющей воды, казался ему в темноте какой-то черной массой. При мерцающем свете огонька на острове смутно выделялась хижина в виде улья, где пастух укрывался на ночь.

«Счастливый пастух! – подумал Гренгуар. – Ты не мечтаешь о славе и не пишешь свадебных гимнов. Что тебе до королей, которые женятся, и до герцогинь бургундских! Ты знаешь только одни маргаритки – те, которые цветут в апреле на лугу, где пасутся твои коровы. А я, поэт, унижен и осмеян. Я дрожу от холода, я должен двенадцать су, а подошвы моих башмаков так износились, что могли бы служить стеклами для твоего фонаря. Спасибо тебе, пастух! Смотря на твою хижину, я успокаиваюсь и забываю Париж».

Страшный треск двойной петарды, внезапно вылетевшей из счастливой хижины, грубо нарушил лирический экстаз поэта. Пастух, как видно, не хотел отстать от других и пускал фейерверк. Гренгуар вздрогнул, услышав треск петарды, и мороз пробежал у него по телу.

– Проклятый праздник! – воскликнул он. – Неужели ты будешь всюду преследовать меня? О господи! От него нельзя избавиться даже здесь, около хижины пастуха!

Он взглянул на Сену, протекавшую у его ног, и страшное искушение овладело им.

– Ах, с каким бы удовольствием я утопился! – воскликнул он. – Если бы вода не была так холодна!..

И он принял отчаянное решение. Раз все равно нет никакой возможности скрыться от процессии папы шутов, от флагов Жана Фурбо, от майских веток, ракет и петард, так лучше уж смело ринуться в самый центр увеселений и отправиться на Гревскую площадь.

«Там я хоть немножко погреюсь около костра, – думал он, – и поужинаю крошками от трех огромных сахарных щитов с королевскими гербами, выставленных над городским общественным буфетом».

II. Гревская площадь

В наши дни остался лишь один малозаметный след от Гревской площади того времени: это прелестная башенка, занимающая ее северный угол. Да и она уже не та, что была прежде. Ее чудесные скульптурные украшения грубо замазаны штукатуркой, и очень возможно, что башня эта в недалеком будущем совсем исчезнет за массой новых домов, которые так быстро вырастают, поглощая старинные здания Парижа.

Люди, которые, подобно нам, не могут пройти по Гревской площади, не бросив взгляда сожаления и сочувствия на эту бедную башенку, стиснутую между двумя некрасивыми домами времен Людовика XV, легко воссоздадут в своем воображении общий вид зданий, к которым она принадлежала, и ясно представят себе старую готическую площадь пятнадцатого века.

Она, как и теперь, имела форму неправильной трапеции: по одной стороне ее шла набережная, а по трем остальным тянулись ряды высоких, узких, мрачных домов. Днем можно было любоваться разнообразием этих почти сплошь покрытых резьбой по дереву или камню зданий, которые могли служить точными образцами различных средневековых стилей от одиннадцатого до пятнадцатого века. Тут можно было увидеть и прямоугольные окна, заменившие стрельчатые, и полукруглые окна чисто романского стиля, которые были вытеснены стрельчатыми. Окна этого романского стиля были во всем нижнем этаже башни Роланда, стоявшей на углу набережной, около Кожевенной улицы.

Ночью из всей этой массы зданий можно было различить лишь остроконечные верхушки крыш, выделявшихся на небе рядом черных зубцов. Одно из самых главных различий между теперешними и прежними городами состоит в том, что в настоящее время дома строятся фасадом к улицам и площадям, тогда как прежде они выходили боком. Прошло уже два века с тех пор, как дома повернулись к улице.

На восточной стороне площади возвышалось тяжелое здание смешанного стиля, состоящее из трех помещений. У него было три различных названия, объясняющих его историю, назначение и архитектуру. Оно называлось Домом дофина, потому что в нем жил дофин Карл V; Домом торговли, так как здесь был городской магистрат, и Домом с колоннами (*domus ad pilogia*), потому что ряд толстых колонн поддерживал его три этажа.

Здесь можно было найти все, что требуется такому большому городу, как Париж: часовню, чтобы помолиться; судебный зал, чтобы творить суд и расправу и в случае надобности отправлять в кутузку королевских подданных, и арсенал, полный огнестрельного оружия.

Парижане прекрасно понимали, что одними просьбами далеко не всегда можно добиться каких-нибудь льгот для города, и потому у них на всякий случай был сложен на чердаке порядочный запас ржавых мушкетов.

Что-то зловещее было в том впечатлении, какое производила тогда Гревская площадь. Впрочем, почти такое же впечатление производит она и теперь благодаря тяжелым воспоминаниям, которые пробуждаются при ее виде, и благодаря мрачной городской ратуше Доминика Бокадора, заменившей Дом с колоннами. К тому же виселица и позорный столб – «правосудие и лестница», как говорили тогда, – всегда стоявшие рядышком посреди площади, заставляли невольно отвращать глаза от страшного места, где погибло столько полных жизни и здоровья людей и где спустя полвека появилась особая ужасная болезнь, «лихорадка святого Вальера», вызываемая страхом перед эшафотом, – самая чудовищная из всех болезней, так как она исходит не от Бога, а от человека.

Утешительно думать, между прочим, что смертная казнь, загромождавшая триста лет тому назад своими железными колесами, каменными виселицами и разными орудиями пыток Гревскую и Рыночную площади, перекресток Трауар, площадь Дофина, Свиной рынок, ужасный Монфокон, заставу Сержантов, Кошачью площадь, ворота Сен-Дени, Шампо, ворота Бодо и Сен-Жак, не считая бесчисленных виселиц прево, епископов, аббатов и приоров, которым было предоставлено право суда, не считая тех несчастных, которых по судебным приговорам топили в Сене, – эта старая сюзеренка феодальных времен в настоящее время потеряла свою прежнюю власть. Постепенно она принуждена была сложить оружие, отказаться от утонченных мучений, развращавших воображение и фантазию, и от пыток, для которых переделывали каждые пять лет кожаную постель в Гран-Шатлэ. Теперь смертная казнь совсем почти исчезла из наших законов и городов. Ее преследовали шаг за шагом, прогоняли с места на место, и теперь у нее во всем громадном Париже остался лишь один опозоренный уголок на Гревской площади, одна жалкая гильотина, робкая, беспокойная, пристыженная, которая словно боится, что ее застанут на месте преступления, и мгновенно исчезает, нанеся свой удар.

III. Besos para golpes²⁷

К тому времени, как Пьер Гренгуар дошел до Гревской площади, он совсем окоченел от холода. Чтобы избежать толпы на мосту Шанж и флагов Жана Фурбо, он свернул на Мельничный мост. Но по пути вертевшиеся колеса всех мельниц епископа так забрызгали его, что он промок насквозь. К тому же он чувствовал, что после провала своей пьесы его как будто еще больше знобит. А потому он быстро направился к праздничному костру, великолепно пылавшему на середине площади, но костер был окружен плотным кольцом людей.

– Проклятые парижане! – сказал про себя Гренгуар, почувствовав, как настоящий драматург, пристрастие к монологам. – Теперь они загораживают мне огонь. А как бы мне нужно было погреться и пообсушиться. Мои башмаки промокли, а эти отвратительные мельницы окатили меня с ног до головы водой! Чтобы черт побрал парижского епископа со всеми его мельницами! Интересно знать, на что епископу мельницы? Уж не собирается ли он из епископа превратиться в мельника? Если для этого нужно только мое проклятие, то я с удовольствием прокляну и его самого, и его собор, и его мельницы!.. А эти зеваки и не думают расходиться! И что, спрашивается, они там делают? Греются, вот так удовольствие! Смотрят, как горит сотня поленьев, – есть чем любоваться!

Однако, подойдя поближе, Гренгуар заметил круг гораздо больший, чем нужно для того, чтобы греться около королевского костра, и что это стечение зрителей объяснялось не только красотой сотни горящих поленьев.

В довольно большом пустом пространстве между толпой и костром танцевала девушка. Несмотря на весь свой скептицизм философа и всю свою иронию поэта, Гренгуар в первую минуту не мог решить, была эта молодая девушка человеческим существом, феей или ангелом, – до такой степени был он очарован ослепительным видением. Она была невысока ростом, но тонкая фигурка ее была так стройна, что казалась высокой. Она была брюнетка, и днем кожа ее, как нетрудно было догадаться, имела тот чудный золотистый оттенок, который свойственен андалузкам и римлянкам. Ее маленькие ножки так легко и свободно двигались в хороших узких башмачках, что тоже казались ножками андалузки. Она танцевала, вертелась, кружилась на небрежно брошенном на землю старом персидском ковре, и каждый раз, как она повертывалась и ее сияющее лицо мелькало перед вами, она обжигала вас, как молнией, взглядом своих больших черных глаз.

Все взгляды были обращены на нее, все рты полуоткрыты. Она танцевала с тамбурином, поднимая его над головой нежными, точно выточенными руками. Тоненькая, легкая и подвижная, как оса, в золотистом корсаже, плотно облегающем талию, пестрой, развевающейся юбке, иногда открывавшей ее стройные ножки, с обнаженными плечами, черными волосами и сверкающими глазами – она действительно казалась сверхъестественным существом.

«Это саламандра, – думал Гренгуар, – это нимфа, богиня, вакханка!»

В эту минуту одна из кос «саламандры» расплелась, и блестящая медная монета, привязанная к ней, упала и покатила по земле.

– Господи, да это цыганка! – воскликнул Гренгуар.

И вся иллюзия сразу исчезла.

Она снова принялась танцевать. Подняв с земли две шпаги и приложив их острием ко лбу, она начала вертеть их в одну сторону, а сама стала кружиться в другую. Да, это была простая цыганка. Но как ни велико было разочарование Гренгуара, он не мог не поддаться обаянию этого зрелища, в котором было что-то волшебное. Ярко-красное пламя костра освещало всю картину, дрожало на лицах зрителей, на смуглом лбу молодой девушки и отбрасывало

²⁷ Поцелуй за удары (*исп.*).

слабый, прорезанный колеблющимися тенями отблеск в глубину площади, на старый, почерневший фасад Дома с колоннами с одной стороны и на каменные столбы виселицы – с другой.

Среди множества лиц, освещенных красным пламенем костра, особенно выделялось суровое, спокойное и мрачное лицо одного человека, поглощенного, казалось, больше всех остальных созерцанием танцовщицы.

Человеку этому, одежду которого нельзя было рассмотреть за окружавшей его толпой, казалось на вид не больше тридцати пяти лет. А между тем он был лыс, и только несколько прядей жидких и уже седеющих волос остались у него на висках. Его высокий и широкий лоб был изрезан морщинами, но впалые глаза сверкали пылом молодости, жаждой жизни и глубокой страстью. Он не спускал их с цыганки, и в то время, как беззаботная шестнадцатилетняя девушка танцевала и порхала, возбуждая восторг толпы, его мысли, казалось, становились все мрачнее. Время от времени улыбка и вздох встречались на его губах, но улыбка была еще печальнее вздоха.

Наконец молодая девушка, запыхавшись, остановилась, и толпа наградила ее рукоплесканиями.

– Джали! – позвала цыганка.

Тут только Гренгуар увидел хорошенькую белую подвижную козочку с глянцевитой шерстью, позолоченными рожками и копытцами и в золоченом ошейнике. До сих пор она лежала на уголке ковра, смотря, как танцует ее хозяйка, и он не заметил ее.

– Теперь твоя очередь, Джали, – сказала танцовщица.

Она села и, грациозно протянув козочке свой тамбурин, спросила:

– Какой теперь месяц, Джали?

Козочка подняла переднюю ногу и ударила по тамбурину один раз.

Был действительно январь. Толпа зааплодировала.

– Джали, – спросила молодая девушка, перевернув тамбурин, – какое у нас число?

Джали подняла свое позолоченное копытце и ударила им по тамбурину шесть раз.

– Джали, – продолжала цыганка, снова перевернув тамбурин, – который теперь час?

Козочка ударила по тамбурину семь раз. В ту же минуту на часах Дома с колоннами пробило семь часов.

Народ был в восторге.

– Это колдовство! – сказал зловещий голос в толпе. Голос принадлежал лысому человеку, не спускавшему глаз с цыганки.

Она вздрогнула и обернулась. Но в ту же минуту раздался гром рукоплесканий, заглушивший эти ужасные слова и изгладивший из памяти молодой девушки произведенное ими тяжелое впечатление.

– Джали, – обратилась она опять к своей козочке, – покажи, как ходит мэтр Гишар Гран-Реми, капитан городской стражи, во время крестного хода на Сретение.

Джали поднялась на задние ноги и заблеяла, переступая с такой уморительной важностью, что вся толпа разразилась громким хохотом при этой пародии на ханжу-капитана.

– Джали, – продолжала цыганка, ободренная все возрастающим успехом, – представь, как говорит речь мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор духовного суда.

Козочка села и заблеяла, размахивая передними ножками, причем по ее позе и жестам сейчас же можно было узнать мэтра Жака Шармолю. Для полного сходства недоставало только плохого французского языка и такой же плохой латыни. Толпа разразилась восторженными рукоплесканиями.

– Это святотатство! Профанация! – снова раздался голос лысого человека. Цыганка опять обернулась.

– Ах, это тот противный человек! – прошептала она и, вытянув вперед нижнюю губку, сделала гримасу, которая, по-видимому, вошла у нее в привычку. Потом она повернулась на каблучках и, взяв в руки тамбурин, пошла собирать приношения зрителей.

Крупные и мелкие серебряные монеты и лиарды сыпались градом. Когда она проходила мимо Гренгуара, он необдуманно опустил руку в карман, и девушка остановилась перед ним.

– Черт возьми! – пробормотал поэт, найдя в своем кармане действительность, то есть пустоту.

А цыганка продолжала стоять, смотря на него своими большими глазами и протягивая ему тамбурин. Крупные капли пота выступили на лбу Гренгуара.

Если бы у него в кармане лежало все золото Перу, он не задумавшись отдал бы его танцовщице. Но никаких золотых россыпей Перу не было у Гренгуара, да и Америка в то время еще не была открыта.

Счастливая случайность помогла ему.

– Скоро ли ты уберешься отсюда, египетская саранча! – крикнул резкий голос из самого темного уголка площади.

Молодая девушка испуганно обернулась. Это говорил уже не лысый человек; это был голос женщины – злой, исступленный голос.

Восклицание, так напугавшее цыганку, доставило большое удовольствие бегавшим по площади детям.

– Это затворница башни Роланда! – со смехом закричали они. – Это она бранится! Должно быть, она не ужинала. Сбегаем в городской буфет и принесем ей каких-нибудь объедков!

И они побежали к Дому с колоннами.

Между тем Гренгуар, воспользовавшись смущением танцовщицы, обратился в постыдное бегство. Слова детей напомнили ему, что он тоже не ужинал. Он побежал к буфету. Но у ребятишек ноги были проворнее, чем у него, и, когда он пришел, они уже успели очистить стол. На нем не осталось решительно ничего. Только нежные лилии и розы, переплетаясь, красовались на стенках, расписанных в 1435 году Матье Битерном. Но такой ужин не мог, конечно, насытить нашего поэта.

Неприятно ложиться спать без ужина. Но еще неприятнее остаться без ужина и не иметь уголка, где бы можно было заснуть. Гренгуар был как раз в таком положении, – у него не было ни хлеба, ни пристанища. Горькая нужда теснила его со всех сторон, и он находил ее чересчур суровой. Давно уже открыл он ту истину, что Юпитер создал людей в припадке мизантропии и что мудрецу приходится всю жизнь бороться с судьбой, которая держит, словно в осаде, его философию. Что касается его самого, то никогда еще, казалось ему, эта осада не доходила до такой крайней степени. Желудок его бил тревогу, и он находил, что со стороны злой судьбы нечестно смирять его философию голодом.



«Танцующая Эсмеральда». Художник – Шарль Вуаймо. 1888 г.
«...я полюблю только того мужчину, который сумеет защитить меня»

(Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери»)

Погрузившись в эти грустные размышления, он глубоко задумался, как вдруг странное, но необыкновенно нежное пение вывело его из задумчивости. Это пела молодая цыганка.

О ее голосе можно было сказать то же, что об ее танцах и красоте. В нем было что-то неизъяснимое и прелестное, что-то чистое, воздушное и, так сказать, окрыленное. Голос этот то повышался, то понижался; чудесные мелодии сменялись неожиданными переходами; простые музыкальные фразы перемежались с резкими, звонкими нотами; рулады, способные сбить с толку соловья, но всегда полные гармонии, переходили в мягкие переливы октав, то поднимаясь, то опускаясь, как грудь самой молодой певицы.

На ее прелестном лице с необыкновенной быстротой сменялось выражение, передавая все оттенки ее капризной песенки – от страстного вдохновения до самого чистого, целомудренного величия. Она казалась то безумной, то королевой. Она пела на неизвестном Гренгуару языке. Казалось, он был незнаком и самой певице, так как выражение, которое она придавала пению, часто совсем не подходило к словам. Безумным весельем звучали в ее устах слова:

Un cofre de gran riqueza
Haralon dentro un pilar,
Dentro del nuevas banderas
Con figuras de espantar...²⁸

А минуту спустя, когда она пела:

Alarabes de cavallo
Sin paderse menear
Con espadas, y los cuellos
Ballestas de buen echar...²⁹ —

у Гренгуара навернулись слезы.

Но чаще всего в ее пении звучала жизнерадостность: она пела весело и беззаботно, как птичка.

Песня цыганки нарушила задумчивость Гренгуара, как лебедь, плывя, тревожит водную гладь. Он слушал с восхищением, забыв обо всем на свете. После долгих тяжелых часов он в первый раз вздохнул свободно и не чувствовал страдания. Но это продолжалось недолго.

Голос той же женщины, которая прервала танец цыганки, теперь прервал ее пение.

– Замолчишь ли ты, чертова стрекоза! – крикнула она из своего темного угла.

Бедная «стрекоза» сразу умолкла, а Гренгуар заткнул себе уши.

– Ах, эта проклятая зазубренная пила разбила лиру! – воскликнул он.

В толпе тоже послышался ропот.

– К черту затворницу! – крикнул кто-то.

И невидимая старуха, нарушавшая общее веселье, могла бы дорого поплатиться за свои нападки на цыганку, если бы внимание толпы не было в эту минуту отвлечено процессией шутовского папы, уже обошедшей улицы и перекрестки и теперь хлынувшей с факелами и шумом на Гревскую площадь.

Эта процессия, о которой читатель составил себе некоторое понятие, когда она выходила из дворца, успела организовать в пути и вобрать в себя по дороге всех парижских мошенни-

²⁸ Роскошный сундук вытащили со дна водоема, в нем были новые знамена со страшными изображениями... (Исп.)

²⁹ Арабы на лошадях, неподвижные, с мечами и самострелами через плечо... (Исп.)

ков, воров и бродяг. Таким образом, когда она явилась на Гревскую площадь, у нее был весьма внушительный вид.

Впереди шествовало цыганское царство. Во главе его ехал верхом герцог цыганский со своими графами, которые шли рядом с ним, ведя за повод его коня и придерживая стремяна; позади них двигалась беспорядочная толпа цыган и цыганок с маленькими плачущими детьми за плечами. Все они – герцог, графы и простой народ – были в лохмотьях и мишурных украшениях.

Затем следовало королевство «арго», то есть все воры Франции. Они были разделены по рангам на несколько отрядов. Мелкие воришки шли впереди, за ними, по четыре в ряд, следовали остальные, со знаками ученых степеней, в которые их возвел этот странный факультет. Тут были хромые, однорукие, карлики, слепые, кривые, эпилептики, расслабленные, сироты, плуты, лицемеры; перечисление всех утомило бы самого Гомера. Посреди святошей и плутов ехал король «арго», высокий человек, сидевший на корточках в маленькой тележке, которую вели две большие собаки.

Потом шло царство галилейское. Впереди бежали шуты, которые дрались между собой и выплясывали пиррический танец, а за ними важно выступал Гильом Руссо, царь галилейский, в пурпурной, залитой вином мантии, окруженный своими жезлоносцами, советниками и писцами счетной палаты.

Шествие замыкала корпорация судебных писцов в черных мантиях, с украшенными цветами «майскими ветвями», достойной шабаша музыкой и толстыми желтыми восковыми свечами. Посреди этой толпы высшие члены братства шутов несли на плечах носилки, на которые было наклеплено больше свечей, чем на раке святой Женевьевы во время чумы. А на этих носилках сидел сияющий, облаченный в мантию, в митре и с посохом в руках новый папа шутов – звонарь собора Богоматери, Квазимодо-горбун.

У каждого отделения этой шутовской процессии была своя музыка. Цыгане били в тамбурины и балафосы. Народ «арго», далеко не музыкальный, все еще придерживался виолы, пастушьего рожка и готической резьбы двенадцатого столетия. Царство галилейское стояло по части музыки почти на таком же уровне. Правда, в его оркестре слышались звуки гудка, но это был жалкий старинный гудок, имевший всего три тона. Зато около шутовского папы звучали и гремели в дикой какофонии все лучшие музыкальные инструменты той эпохи. Тут были уже новые гудки, отдельные – для верхних, средних и нижних регистров, было много флейт и медных инструментов. Увы! Как известно читателю, это был оркестр Гренгуара.

Трудно представить себе, до какой степени изменилось безобразное и грустное лицо Квазимодо с тех пор, как процессия выступила из дворца и добралась до Гревской площади. Теперь это лицо просветлело, озаренное выражением гордости и блаженства. Первый раз за всю свою жизнь испытал Квазимодо чувство удовлетворенного самолюбия. До сих пор он не знал ничего, кроме унижений; все относились к нему с презрением ввиду его низкого положения, все с отвращением смотрели на его фигуру и лицо. А потому, несмотря на свою глухоту, он наслаждался, как настоящий папа, восторженными криками толпы, которую ненавидел за ненависть к себе. Правда, народ его состоял из всякого сброда – из воров, шутов, нищих и калек, – но что из этого! Все же это был народ, а он – его властелин. И он принимал за чистую монету иронические рукоплескания и насмешливые знаки уважения, хотя нужно сознаться, что к чувствам толпы примешивалась немалая доля страха. Горбун был силен, кривоногий был ловок, глухой был зол – три качества, умеряющие насмешки.

Но едва ли новый папа шутов отдавал себе ясный отчет в чувствах, которые он возбуждал и которые испытывал сам. Ум, обитавший в этом уродливом теле, тоже не мог развиваться как следует, не мог рассуждать здраво и делать точные выводы. А потому Квазимодо лишь смутно и неопределенно сознавал то, что сам он чувствовал в эту минуту.

Только радость охватывала его все сильнее, только гордость преобладала над всем! Это уродливое, жалкое лицо было, казалось, озарено сиянием.

В ту минуту, как опьяненного величием Квазимодо торжественно несли мимо Дома с колоннами, какой-то человек, к изумлению и ужасу толпы, вдруг бросился к нему и гневным движением вырвал у него из рук деревянный позолоченный посох – знак его папского достоинства.

Этот смельчак был тот самый лысый незнакомец, который некоторое время тому назад, стоя в толпе, окружавшей цыганку, испугал молодую девушку своими угрожающими, полными ненависти словами. На нем была одежда духовного лица. В ту минуту, как он бросился к Квазимодо, Гренгуар, до сих пор не видевший его, вскрикнул от удивления.

– Господи! – пробормотал он. – Да это мой учитель герметики, архидьякон Клод Фролло! Что ему нужно от этого кривого? Ведь тот разорвет его!

И действительно, раздался крик ужаса. Квазимодо в ярости соскочил с носилок, и женщины отвернулись, чтобы не видеть убийства архидьякона.

Горбун бросился к Клоду Фролло, взглянул на него и пал на колени. Архидьякон сорвал с него тиару, сломал его посох и разорвал мишурную мантию.

Квазимодо продолжал стоять на коленях, опустив голову и сложив руки.

Потом между ними начался странный разговор на языке знаков и жестов, так как ни один из них не произносил ни слова. Архидьякон стоял гневный, в угрожающей, повелительной позе; Квазимодо склонялся к его ногам, смиренный, умоляющий. А между тем он мог бы одним пальцем уничтожить Клода Фролло, – в этом не было ни малейшего сомнения.

Наконец архидьякон, сжав могучее плечо Квазимодо, знаком велел ему встать и следовать за собой.

Горбун встал.

Тогда братство шутов, опомнившись от первого изумления, решило защищать своего так грубо свергнутого папу; цыгане, воры и писцы с криками окружили архидьякона.

Квазимодо заслонил его собой, сжал свои страшные кулаки и, оглядев толпу, заскрежетал зубами, как разъяренный тигр.

Архидьякон, лицо которого приняло свое обычное спокойное и строгое выражение, сделал ему знак и молча стал удаляться.

Горбун пошел впереди, расталкивая народ на его пути.

Когда они выбрались из толпы и пересекли площадь, толпа любопытных и зевак двинулась за ними. Тогда Квазимодо занял место в арьергарде и, обернувшись к ним лицом, пятясь, пошел за архидьяконом. Угрюмый, коренастый, всклокоченный, чудовищный, насторожившийся, он облизывал свои кабаньи клыки, ворчал, как дикий зверь, и одним взглядом или жестом заставлял толпу отпрянуть в сторону.

Наконец они оба вошли в узкую темную улицу, и никто не решился следовать за ними, – одна мысль о страшном, скрежещущем зубами Квазимодо преграждала туда путь.

– Вот так чудеса! – сказал Гренгуар. – Но где же, черт возьми, я добуду себе ужин?

IV. Неудобства, которым подвергаешься, преследуя вечером хорошенькую женщину

Не зная, куда идти, Гренгуар пошел за цыганкой. Он видел, как она повернула со своей козочкой на улицу ножовщиков, и тоже свернул туда.

«Почему бы и нет!» – подумал он.

Гренгуар, практический философ парижских улиц, заметил, что мечтательное настроение легче всего приходит, когда следуешь за хорошенькой женщиной, не зная, куда она идет. Это добровольное отречение от своей воли, подчинение своей фантазии фантазии другого,

даже не подозревающего о том, смесь независимости и слепого повиновения, нечто среднее между свободой и рабством, – нравились Гренгуару. У него был нерешительный, сложный характер, постоянно переходящий из одной крайности в другую, колеблющийся между различными желаниями и стремлениями, которые вследствие этого взаимно уничтожались. Он сам охотно сравнивал себя с гробом Магомета, который два магнита тянут в противоположные стороны и который вечно колеблется между верхом и низом, между восхождением и падением, между зенитом и надиром.

Если бы Гренгуар жил в наше время – какое великолепное место занял бы он между классицизмом и романтизмом!

Но, к сожалению, он родился слишком поздно, когда люди уже перестали жить по триста лет. А между тем в наши дни его отсутствие особенно ощутимо и заметно.

Настроение человека, не имеющего пристанища на ночь, как нельзя лучше подходит для того, чтобы следовать за прохожими и прежде всего, конечно, за женщинами, что Гренгуар проделывал охотно.

Итак, он шел, задумавшись, за молодой девушкой, которая ускорила шаг и заставляла бежать свою козочку, видя, что все расходится по домам и таверны запираются. Все остальные лавки были закрыты в этот день.

«Ведь живет же она где-нибудь, – думал Гренгуар. – У цыган доброе сердце. Кто знает?..»

Многогочие, которое он мысленно ставил после этого вопроса, таило за собой что-то недосказанное и, по-видимому, очень приятное.

Время от времени, когда он проходил мимо групп горожан, возвращавшихся домой и запиравших за собой двери, обрывки их разговоров, долетавшие до него, прерывали цепь его мечтаний.

Вот встретились на улице два старика.

– А какой холод-то сегодня, мэтр Тибо Ферникль! – произнес один.

Гренгуар знал это с самого начала зимы.

– Ваша правда, мэтр Бонифаций Дизом, – отвечал другой. – Неужели у нас будет опять такая же зима, как три года тому назад, в четыреста восьмидесятом году, когда охалка дров стоила восемь солей?

– Это что, мэтр Тибо! А помните зиму в четыреста семидесятом году, когда морозы стояли с Мартинова дня и до самого Сретения, – да такие морозы, что у секретаря парламента через каждые три слова замерзали на пере чернила! И из-за этого пришлось запустить дела.

Вот две соседки болтают, стоя у окон с зажженными свечами, потрескивающими от тумана.

– Слышали вы, какое несчастье случилось сегодня, госпожа де Бурдак? Рассказывал вам муж?

– Нет. Что же такое случилось, госпожа Тюркан?

– Лошадь нотариуса Жилля Годена испугалась фламандцев с их свитой и сбила с ног мэтра Филиппа Аврилло, областа целестинских монахов.

– Неужели?

– Истинная правда.

– Лошадь горожанина! Это уж слишком. Еще будь это кавалерийская лошадь – куда ни шло!

Окна захлопнулись. Но Гренгуар все-таки терял нить своих мыслей.

К счастью, он скоро опять находил ее благодаря цыганке и Джали, двум нежным, грациозным, прелестным созданиям, шедшим впереди. Он любовался их маленькими ножками, их стройными формами и грациозными движениями, и они почти сливались в его воображении. По своему уму и дружбе обе они казались ему молодыми девушками; по легкости и быстроте походки это были две козочки.

Между тем улицы становились с каждой минутой все темнее и пустынее.

Прошло уже довольно много времени с тех пор, как прозвучал колокольный сигнал тушить огни, и теперь только изредка попадался на улице прохожий или светился где-нибудь в окне огонек.

Гренгуар последовал за цыганкой в запутанный лабиринт улиц, перекрестков и глухих переулков, которые окружают старинное кладбище «Невинных душ» и походят на моток ниток, перепутанный кошкой.

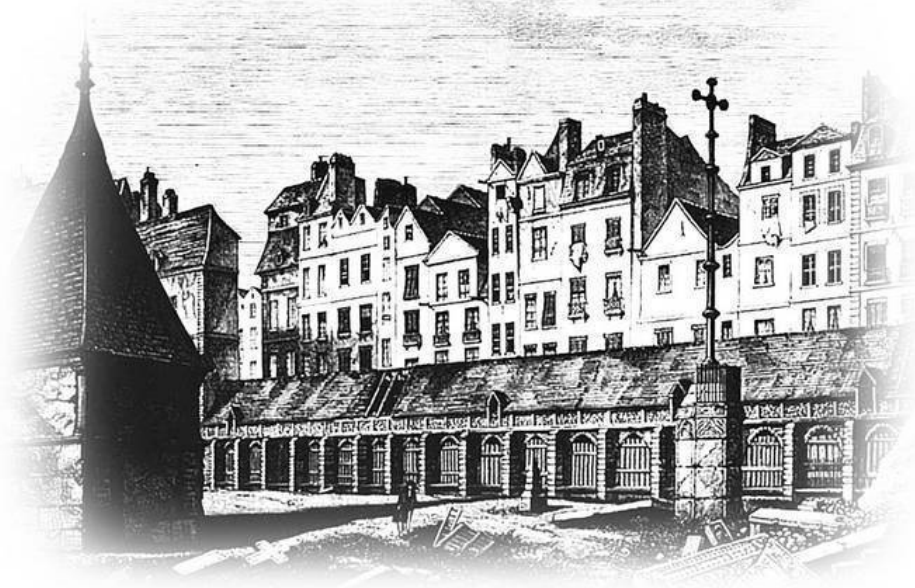
«Вот улицы, которым не хватает логики!» – думал Гренгуар, путаясь в бесчисленных поворотах, которые, казалось ему, приводили опять на то же место. Но девушка, очевидно, хорошо знала эту местность: она без малейшего колебания шла вперед, все ускоряя шаг. Что же касается Гренгуара, то он совсем сбился с толку и не мог бы сказать, куда попал, если бы не заметил на повороте одной улицы восьмиугольного позорного столба Рыночной площади, сквозная верхушка которого резко выделялась своей черной резьбой на освещенном окне одного из домов улицы Верделе.

Молодая девушка наконец заметила, что ее преследуют, и несколько раз с беспокойством оглянулась назад. Один раз она даже остановилась и, воспользовавшись светом, проникавшим из полуотворенной двери булочной, внимательно оглядела Гренгуара с головы до ног. После этого осмотра она сделала гримасу, которую он уже видел раньше, и пошла дальше.

Эта хорошенькая гримаска заставила призадуматься Гренгуара; она – в этом не могло быть сомнения – выражала презрение и насмешку. А потому он немножко замедлил шаг и, опустив голову, стал считать камни мостовой, следуя за девушкой уже на некотором отдалении. Вдруг на повороте одной улицы девушка пропала у него из виду, и он услышал ее пронзительный крик.

Гренгуар ускорил шаг.

Улица была окутана мраком. К счастью, на углу, около статуи Пресвятой Девы, горела в железном фонаре пропитанная маслом светильня, и при ее слабом свете Гренгуар увидел цыганку, вырывавшуюся из рук двоих мужчин, старавшихся заглушить ее крики. Бедная перепуганная козочка опустила рога и жалобно блеяла.



Кладбище Невинных. Одно из самых старых и самых знаменитых кладбищ Парижа, некогда расположенное почти в самом центре города в квартале Ле-Аль 1-го округа Парижа на

правом берегу Сены, района, больше известного как «чрево Парижа». Поначалу на кладбище хоронили бедняков, душевнобольных и еще не крещенных младенцев, поэтому оно и получило такое название

– Стража, сюда! – крикнул Гренгуар и смело бросился вперед.

Один из мужчин, державших девушку, обернулся к нему, и он увидел страшное лицо Квазимодо.

Гренгуар не обратился в бегство, но и не двинулся с места.

Квазимодо подошел к нему, одним ударом сбил его с ног и быстро скрылся в темноте, унося молодую девушку, перебросив ее через плечо, как шелковый шарф. Его спутник последовал за ним, а бедная козочка, продолжая жалобно блеять, побежала сзади.

– Помогите! Помогите! – кричала несчастная цыганка.

– Стойте, негодяи, и освободите эту женщину! – раздался вдруг громовой голос, и из-за угла появился какой-то всадник.

Это был капитан королевских стрелков, вооруженный с головы до ног и с обнаженной саблей в руке.

Он вырвал цыганку из рук ошеломленного Квазимодо и положил ее поперек своего седла. А когда ужасный горбун, опомнившись от изумления, бросился к нему, чтобы отнять свою добычу, человек пятнадцать вооруженных палашами стрелков, ехавших следом за своим начальником, подскакали к нему. Этот отряд был послан в ночной объезд по распоряжению парижского прево мессира Роберта д'Эстувалья.

Квазимодо схватили и связали по рукам и ногам. Он кричал, бесновался, кусался, и, будь это днем, один вид его безобразного, искаженного гневом лица, которое от этого было еще ужаснее, чем обычно, наверное, обратил бы в бегство весь отряд. Но темнота лишила горбуна самого страшного его оружия – безобразия.

Спутник Квазимодо исчез во время схватки.

Цыганка, грациозно приподнявшись на седле и положив руки на плечи молодого всадника, несколько секунд пристально смотрела на него, как бы благодаря его за оказанную услугу и вместе с тем восхищаясь его красивой наружностью. Она первая нарушила молчание. Придав еще больше нежности своему и без того нежному голосу, она спросила:

– Как вас зовут, господин стрелок?

– Капитан Феб де Шатопер к вашим услугам, моя красавица, – выпрямившись, ответил офицер.

– Благодарю вас, – сказала она.

И в то время как капитан самодовольно крутил усы, она, как падающая на землю стрела, соскользнула с лошади и исчезла быстрее молнии.

– Черт возьми! – воскликнул капитан и велел стянуть покрепче ремни, которыми был связан Квазимодо. – Мне было бы гораздо приятнее оставить у себя девушку!

– Делать нечего, капитан! – сказал один из его спутников. – Птичка улетела, а летучая мышь осталась.

V. Продолжение неудач

Оглушенный падением, Гренгуар продолжал лежать на углу улицы, перед статуей Пресвятой Девы. Мало-помалу он пришел в себя. Сначала, в продолжение нескольких минут, он находился в полубессознательном и довольно приятном забытии, причем воздушные фигуры цыганки и козочки сливались в его сознании с полновесным кулаком Квазимодо. Но это состояние продолжалось недолго. Довольно сильный холод, который ощущало его тело от соприкосновения с мостовой, вывел его из забытия и привел в себя.

«Отчего мне так холодно?» – подумал он и тут только заметил, что лежит в уличной канаве.

– Черт побери этого горбатого циклопа! – проворчал сквозь зубы Гренгуар и хотел встать. Но у него так кружилась голова и он был до того разбит, что не мог подняться и принужден был остаться на месте. Делать нечего – приходилось покориться. Он поднял руку и зажал себе нос.

«Парижская грязь, – подумал он, в полной уверенности, что луже, в которой он лежит, суждено было послужить ему на этот раз ночлегом („А что же делать на ложе, как не мечтать“), – парижская грязь как-то особенно зловонна. Она, наверное, заключает в себе много летучей соли и азотной кислоты. По крайней мере, так полагает мэтр Никола Фламель и герметики...»

Слово «герметики» напомнило ему об архидьяконе Клоде Фролло. Он вспомнил страшную сцену, которая произошла на его глазах; вспомнил, как цыганка отбивалась от двоих мужчин; вспомнил, что у Квазимодо был спутник, – и суровое, гордое лицо архидьякона смутно промелькнуло в его памяти.

«Это было бы очень странно!» – подумал он и по одной лишь данной принялся строить на весьма шатком основании причудливое здание гипотез – этот карточный домик философов.

– Господи! Я совсем замерзаю! – вдруг воскликнул он, снова возвращаясь к действительности.

Положение Гренгуара становилось действительно невыносимым. Каждая частичка воды отнимала частичку теплоты его тела, так что его температура, мало-помалу понижаясь, начала весьма неприятным образом сравниваться с температурой воды.

Но тут Гренгуара постигла новая беда. Толпа уличных мальчишек, этих маленьких босоногих дикарей, которые с незапамятных времен гранят мостовые Парижа и называются «гаме-нами», которые в дни нашего детства швыряли камнями в нас, когда мы по вечерам выходили из школы, только за то, что наши панталоны не были оборваны, – толпа этих буйных ребяташек показала на перекрестке, где лежал Гренгуар. Нисколько не заботясь о том, что все уже спят, они с громким хохотом и криком тащили за собой какой-то безобразный мешок. Деревянные башмаки их с таким громом били о мостовую, что этот стук мог бы разбудить мертвого. Гренгуар, который был еще не совсем мертв, немножко приподнялся.

– Эй, Геннекен Дандеш! Эй, Жан Пенсбурд! – во все горло кричали они. – Старик Эсташ Мубон, торговавший на углу железом, умер. У нас его соломенное чучело, мы разведем из него костер – устроим иллюминацию по случаю приезда фламандцев.

И они швырнули чучело прямо на Гренгуара, к которому подбежали, не заметив его. Потом один из них взял пук соломы и стал зажигать его от лампадки, горевшей перед статуей Пресвятой Девы.

– Господи помилуй! – пробормотал Гренгуар. – Теперь мне будет, пожалуй, уж чересчур жарко.

Минута была критическая. Гренгуар мог очутиться в безвыходном положении, между водой и огнем. Сделав такое же страшное, нечеловеческое усилие, какое сделал бы для спасения своей жизни фальшивомонетчик, видя, что его собираются варить в котле, Гренгуар встал, отбросил чучело на мальчишек и бросился бежать.

– Пресвятая Дева! – вскрикнули дети. – Это вернулся старик Мубон!

И они тоже умчались без оглядки.

Поле битвы осталось за соломенным чучелом. Летописцы Бельфорз, священник ле Жюж и Коррозэ уверяют, что на другой день местное духовенство подняло его и торжественно отнесло в церковь Сент-Опортюэн. Для ризницы этой церкви оно до 1789 года служило довольно прибыльной статьей дохода, так как появление чучела Эсташа Мубона на перекрестке считалось чудом, совершенным Пресвятой Девой, статуя которой стояла тут же, на углу улицы Монконсейль. Она одним своим присутствием спасла в памятную ночь с 6 на 7 января 1482

года умершего Эсташа Мубона, который, желая подшутить над дьяволом, умирая, запрятал свою душу в соломенное чучело.

VI. Разбитая кружка

Гренгуар бежал некоторое время со всех ног, сам не зная куда. Не раз стучался он головой об углы домов, сворачивая из одной улицы в другую, перепрыгивал через канавы, пересекал улицы, глухие переулки и перекрестки, бросался во все извилистые проходы старинного рынка и исследовал в паническом страхе то, что называется в старинных латинских хартиях «*tota via, cheminum et viaria*»³⁰.

Вдруг наш поэт остановился как вкопанный. Во-первых, он чуть не задохнулся, а во-вторых, его, так сказать, схватила за ворот неожиданно пришедшая ему в голову дилемма.

– Мне кажется, мэтр Пьер Гренгуар, – сказал он, прикладывая палец ко лбу, – что вы совсем потеряли голову! Ну зачем вы бежите как безумный! Ведь мальчишки испугались вас несколько не меньше, чем вы испугались их. Вы своими же собственными ушами слышали, как застучали их башмаки по направлению к югу – в то время как вы сами бросились к северу. Одно из двух. Если они убежали, то принесенная ими солома послужит вам прекрасной постелью, которой вы добиваетесь чуть не с самого утра и которую вам чудесно посылает Пресвятая Дева в награду за то, что вы написали в ее честь моралите. Если же дети остались и зажгли солому, у вас будет великолепный костер, около которого вам можно будет обсушиться, обогреться и немножко воспрянуть духом. Во всяком случае, – в виде ли костра, в виде ли постели – солома для вас является даром неба. Может быть, Пресвятая Дева Мария, статуя которой стоит на углу улицы Монконсейль, именно для этого и послала смерть Эсташу Мубону, и очень глупо с вашей стороны бежать, как пикардиец перед французом, оставляя позади себя то, чего сами же ищете. Вы ужаснейший болван, мэтр Пьер Гренгуар!

И Гренгуар повернул обратно. Насторожив уши и внимательно всматриваясь, он старался ориентироваться и отыскать благодетельную солому. Но старания его были тщетны. Он попал в такой лабиринт глухих переулков, перекрестков и домов, что все время колебался, не зная, куда идти, потерявшись в этой путанице темных улиц больше, чем если бы попал в лабиринт замка Турнель. Наконец его терпение лопнуло.

– Будь прокляты все эти перекрестки! – торжественно воскликнул он. – Наверное, сам дьявол понаделал их!

Это восклицание несколько облегчило его, а красноватый отблеск, который он в эту минуту увидел в конце длинной извилистой улицы, вернул ему мужество.

– Слава богу! – воскликнул он. – Это горит мой костер! – И, сравнивая себя с кормчим судна, сбившегося ночью с пути, он благоговейно прибавил: – *Salve, Maria, stella*³¹.

К кому относились эти слова хвалебного гимна – к Пресвятой Деве или соломенному чучелу, – этого мы знать не можем.

Не успел он сделать и нескольких шагов по длинной немощеной улице, которая шла под гору и становилась все круче и грязнее, как заметил что-то странное. То тут, то там по ней двигались, смутно выделяясь среди темноты, какие-то неуклюжие фигуры. Все они направлялись к свету, мерцавшему в конце улицы, и походили на неповоротливых гусениц, которые, перебираясь ночью со стебелька на стебелек, ползут к костру пастуха.

Человек делается необыкновенно смел, когда у него пусты карманы. Гренгуар продолжал идти вперед и скоро догнал одну из этих гусениц, которая тащилась медленнее других. Поравнявшись с ней, он увидал, что это жалкий калека, который передвигался, подпрыгивая

³⁰ «Вся дорога, извилистая и запутанная» (лат.).

³¹ Привет, Мария, звезда (лат.).

на руках, и походил на паука-сенокосца, оставшегося только с двумя лапками. В то время как он проходил мимо этого паука с человеческим лицом, тот жалобно проговорил:

– *La buona mancia, signor! La buona mancia!*³²

– Черт тебя побери, – воскликнул Гренгуар, – да и меня вместе с тобой, если я понимаю, что ты хочешь сказать!

И он пошел дальше.

Через минуту Гренгуар догнал другого калеку и с любопытством оглядел его. Это был разбитый параличом несчастный, хромой и однорукый, опиравшийся на сложное сооружение из костылей и деревяшек, которые делали его похожим на ходячие подмости каменщиков. Гренгуар, имевший слабость к благородным классическим сравнениям, мысленно сравнил его с живым треножником Вулкана.

Этот треножник поклонился, когда он поравнялся с ним, и, подставив свою шляпу, как бритвенницу, под самый его подбородок, крикнул ему в ухо:

– *Señor caballero, para comprar un pedazo de pan*³³.

«И этот, кажется, говорит, – подумал Гренгуар, – но на очень грубом языке. Он счастливее меня, если понимает его».

Тут мысли его внезапно приняли другой оборот, и он прибавил, хлопнув себя по лбу:

– Не понимаю, что они хотели сказать сегодня утром своей «Эсмеральдой»!

Он хотел ускорить шаг, но в третий раз что-то или, вернее, кто-то преградил ему путь. Это был слепой, с еврейским лицом, низенький и бородатый, которого вела на поводу большая собака. Он размахивал вокруг себя палкой и, услышав шаги Гренгуара, прогнусил с венгерским акцентом:

– *Facitote caritatem*³⁴.

– Слава богу! – сказал Гренгуар. – Хоть один говорит по-человечески. Должно быть, я кажусь очень добрым, если у меня просят милостыню, несмотря на мой тощий кошелек... Любезный друг, – прибавил он, обращаясь к слепому, – я на прошлой неделе продал свою последнюю рубашку, или, говоря на языке Цицерона, так как никакого другого ты, по-видимому, не понимаешь, *vendidi hebdomade nuper transita meam ultimam chemisam*.

Сказав это, он повернулся спиной к нищему и пошел дальше. Но слепой ускорил шаг и не отставал от него; в то же время параличный и безногий стали догонять Гренгуара, громко стуча по мостовой своими костылями и чашками для сбора подаяний. Потом они все трое, спотыкаясь и ковыляя, пошли за бедным поэтом и затянули свою песенку:

– *Caritatem!* – начинал слепой.

– *La buona mancia!* – подхватывал безногий.

– *Un pedazo de pan!* – заканчивал музыкальную фразу параличный.

Гренгуар заткнул уши.

– Настоящее вавилонское столпотворение! – воскликнул он и бросился бежать. Слепой, безногий и параличный тоже побежали за ним.

И по мере того как Гренгуар подвигался вперед, около него все увеличивалось число калек, которые выходили из домов и прилегающих переулков, выползали из подвалов. Тут были безногие, слепые, горбатые, безрукие, кривые и прокаженные со своими страшными язвами. И все они кричали, выли, визжали, все спотыкались и ковыляли, стремясь к свету, все были грязны, как улитки после дождя.

Гренгуар, которого продолжали преследовать трое нищих, совсем растерялся и, не зная, что делать, шел вместе с остальными, обходя хромых, перепрыгивая через безногих и с таким

³² Подайте, синьор, подайте! (*Ит.*)

³³ Господин кавалер, подайте на кусок хлеба (*исп.*).

³⁴ Сотворите милостыню (*лат.*).

же трудом пробираясь в этой толпе калек, с каким подвигалось судно одного английского капитана, попавшее в косяк крабов.

Ему пришло в голову повернуть назад, но было уже слишком поздно. Весь этот легион сомкнулся позади него, а его преследователи не отставали ни на шаг. И он продолжал идти, увлекаемый этим непреодолимым течением и охватившим его страхом. Голова у него кружилась – ему казалось, что он видит страшный сон.

Наконец он дошел до конца улицы. Она выходила на громадную площадь, где в ночном тумане мерцали тысячи рассеянных огоньков. Гренгуар бросился бежать, надеясь, что быстрые ноги унесут его от трех отвратительных калек, не выпустивших его из виду.

– *Onde vas, homme?*³⁵ – крикнул параличный, отшвырнув костыли, и бросился за ним. У него оказалась пара самых великолепных и быстрых ног, какие когда-либо ступали по парижским улицам.

Безногий тоже подбежал и нахлобучил на голову Гренгуару свою тяжелую, окованную железом чашку, а слепой смотрел на него сверкающими глазами.

– Где я? – спросил перепуганный поэт.

– Во Дворе чудес, – ответил четвертый нищий, подходя к товарищам.

– Да, здесь действительно совершаются чудеса, – сказал Гренгуар. – Слепые тут прозревают, безногие бегают... Но где же Спаситель?

В ответ раздался злоеющий смех.

Бедный поэт осмотрелся кругом. Он на самом деле попал на тот страшный Двор чудес, куда никогда не заходил в такой поздний час ни один порядочный человек. Это был магический круг, где исчезали бесследно судебные приставы и городские сержанты, осмелившиеся переступить черту; притон воров, отвратительный нарост на лице Парижа; клоака, откуда изливался каждое утро, а ночью лился назад грязный поток пороков, нищенства и бродяжничества, всегда переливавшийся через край и наводнявший улицы столицы, чудовищный улей, куда сходились вечером с добычей все трутни человеческого общества; обманчивый госпиталь, где цыган, расстриженный монах, опустившийся студент и негодяи всех наций и религий – испанцы, итальянцы, немцы, евреи, христиане, магометане, язычники – днем просили подаяния, стараясь разжалобить своими искусственными язвами, а ночью превращались в разбойников, – словом, громадная одевальная, где одевались и раздевались в ту пору актеры той вечной комедии, которую воровство, проституция и убийство играют на улицах Парижа.

³⁵ Куда бежишь, человек? (Исп.)



Фронтиспис цикла работ посвященных двору чудес. Художник – Жак Калло. 1622 г.
«Ничто не делает человека столь склонным к рискованным предприятиям, как ощущение невесомости своего кошелька»

(Виктор Гюго)

Обширная площадь неправильной формы была плохо вымощена, как и все парижские площади в то время. Тут и там на ней горели костры, вокруг которых теснились странные группы. Люди подходили, уходили, кричали. Со всех сторон раздавались грубый смех, плач детей и голоса женщин. Руки и головы этой толпы, казавшиеся черными на светлом фоне, принимали странные очертания. Иногда мимо костра, бросавшего на землю колеблющийся отблеск, пересеченный длинными смутными тенями, мелькала собака, похожая на человека, или человек, похожий на собаку. Здесь были люди всякого сорта и всех национальностей, но грани между ними были стерты. Мужчины, женщины, животные, возраст, пол, здоровье, болезни – все смешивалось и сливалось. Каждый принимал здесь участие во всем.

При слабом, мерцающем свете Гренгуар, несмотря на свое волнение, различил вокруг площади ряд безобразных старых домов. Осевшие, низкие, источенные червями фасады их с освещенными то одним, то двумя слуховыми окнами казались ему в темноте рядом громадных голов угрюмых, чудовищных старух, смотревших, подмигивая, на этот шабаш.

Перед ним был какой-то совсем новый мир, невиданный, неслыханный, уродливый, пресмыкающийся, копошащийся, фантастический.

Гренгуар, совсем обезумев от страха, окруженный троими нищими, державшими его как в тисках, и множеством других лиц, оглушенный шумом и гвалтом, старался собраться с мыслями и припомнить, не канун ли праздника сегодня. Но все его усилия были тщетны – нить его мыслей и памяти оборвалась.

И, сомневаясь во всем, переходя от того, что он видел, к тому, что он чувствовал, он задавал себе неразрешимый вопрос:

– Если я существую – существует ли все окружающее? Если существует все окружающее – существую ли я?

В это время раздались громкие крики, покрывшие гул окружавшей его толпы:

– Отведем его к королю! Отведем его к королю!

– Пресвятая Дева! – пробормотал Гренгуар. – Здешний король, наверное, козел!

– К королю! К королю! – заревела вся толпа.

Гренгуара потащили. Каждый старался завладеть им. Но трое нищих не выпускали своей добычи и вырывали его у других с криком: «Он наш!» Камзол поэта, и без того уже изношенный, во время этой битвы испустил последнее дыхание. Пересекая ужасную площадь, он несколько опомнился, пришел в себя и начал осматриваться. В первую минуту, благодаря его поэтическому воображению, а может быть, просто пустому желудку, легкое облако задернуло перед ним все окружающее, и он видел все словно в неясном тумане кошмара, как в сумраке сна, когда все очертания дрожат, формы колеблются, предметы скучиваются в чудовищные группы, когда вещи кажутся химерами, а люди – призраками. Мало-помалу эта галлюцинация рассеялась, и помутившийся взгляд Гренгуара прояснился. Действительность предстала перед ним; она била ему в глаза, попадалась под ноги, и наконец ужасная, но поэтическая картина, подсказанная в первые минуты его воображением, побледнела и исчезла. Он сообразил, что перед ним не Стикс, а грязь, что его толкают не демоны, а воры, что в опасности находится не душа его, а попросту жизнь, так как у него нет кошелька, этого вернейшего примирителя, который с таким успехом становится между вором и честным человеком. Таким образом, разглядев оргию ближе и хладнокровнее, Гренгуар понял, что попал не на шабаш, а в кабак.

Двор чудес был и в самом деле кабак, но кабак разбойников, залитый не только вином, но и кровью.

Когда оборванный конвой Гренгуара наконец доставил его куда следовало, открывшееся перед ним зрелище никоим образом не могло привести его в мечтательное настроение, так как было лишено всякой поэзии, даже поэзии ада. Перед ним была самая прозаическая, грубая

действительность таверны. Если бы действие происходило не в пятнадцатом веке, мы сказали бы, что Гренгуар спустился от Микеланджело к Калло.

На плоском камне был разложен большой огонь, над которым стоял таган, в настоящую минуту пустой, а вокруг огня в беспорядке стояли несколько источенных червями столов. Здесь не было слуги-геометра, который бы удосужился придать им побольше симметрии или хотя бы позаботился, чтобы они не соприкасались между собой под такими необычайными углами. На столах поблескивало несколько переливающихся через край кружек с пивом и вином, а за этими кружками виднелись пьяные лица, покрасневшие от огня и вина. Вон какой-то толстяк с огромным брюхом и веселым лицом звонко целует толстую, обрюзгшую девку. Рядом с ним плут, изображавший днем солдата, разбинтовывает, посвистывая, свою якобы раненую ногу и потирает здоровое колено, которое было туго завернуто с самого утра во всевозможные тряпки. Его сосед занят изготовлением чудесного снадобья из чистотела и бычьей крови, при помощи которого он к утру превратит свою здоровую ногу в больную, покрытую страшными язвами. Через два стола от них «святоша» в полном костюме паломника упражняется, монотонно напевая в нос стихи и псалмы. Недалеко от него очевидно еще неопытный юноша берет урок падучей болезни у старого попрошайки, который учит его пускать пену, засунув в рот кусок мыла. Тут же больной водяжкой превращается в здорового, выпуская раздувавший его воздух, а четыре или пять воровок, сидящие с ним за одним столом и спорящие из-за украденного вечером ребенка, зажимают себе носы.

Спустя два века все эти типы и превращения Двора чудес казались уже «такими удивительными и забавными», как говорит Соваль, «что, для развлечения короля, они появились на сцене и послужили сюжетом для балета „Ночь“, который разделялся на четыре акта и давался в театре Малого Бурбонского дворца».

«Никогда еще, – говорит очевидец 1653 года, – не были так верно воспроизведены необыкновенные метаморфозы Двора чудес. А прелестные стихи Бенсерада подготовили нас к представлению».

Всюду раздавались грубый смех и непристойные песни. Каждый говорил свое, кричал и бранился, не слушая соседа. Кружки стукались одна об другую, разбитая кружка порождала ссору, и в ссоре бродяги черепками рвали друг на друге лохмотья.

Большая собака сидела около огня и смотрела на него. Было в этом аду и несколько детей. Украденный ребенок плакал и кричал. Другой, толстенький мальчик лет четырех, сидел, свесив ноги, на слишком высокой для него скамейке, у стола, доходившего ему до подбородка, и не говорил ни слова. Третий с серьезным видом размазывал пальцем по столу сало, которые текло с оплавившей свечи. Последний, еще совсем крошка, весь покрытый грязью, был едва виден из-за огромного котла. Он почти влез в него и скреб котел обломком черепицы, извлекая звук, от которого Страдивари, наверное, упал бы в обморок.

У огня стояла бочка, а на ней сидел нищий. Это был король на своем троне.

Трое оборванцев, захвативших Гренгуара, подвели его к бочке, и на минуту вся толпа притихла, только из котла, в который забрался ребенок, по-прежнему раздавался скрип.

Гренгуар не осмеливался ни поднять глаз, ни перевести дух.

– *Nombre, quite tu sombreiro*³⁶, – сказал один из троих негодяев, и, прежде чем Гренгуар понял, что это значит, другой сорвал с него шляпу. Правда, это была довольно жалкая шляпа, но она еще могла защищать его от солнца и дождя. Гренгуар вздохнул.

Между тем король с высоты своего трона обратился к нему.

– Это что за мошенник? – спросил он.

Гренгуар вздрогнул. Голос короля, хотя в нем теперь и слышалась угроза, напомнил ему другой, жалобный голос, который в то самое утро нанес первый удар его мистерии, затянув

³⁶ Человеке, снимите свою шляпу (*исп.*).

среди представления: «Подайте Христа ради!» Он поднял глаза. Перед ним был действительно Клопен Труйльфу.

Несмотря на знаки королевского достоинства, Клопен Труйльфу был облачен в те же самые лохмотья. Болячка на его руке уже исчезла. Он держал ременный кнут из белой кожи, какие назывались в то время «метелками» и употреблялись сержантами, когда нужно было водворить порядок в толпе. На голове у него было что-то странное – не то детская шапочка, не то корона. Разобрать было трудно – ведь они так похожи одна на другую.

Между тем Гренгуар, сам не зная почему, несколько ободрился, узнав в короле Двора чудес ненавистного ему нищего большого зала.

– Мэтр... – пробормотал он. – Монсеньор... Сир... Как прикажете называть вас? – наконец спросил он, достигнув высшей точки своего величания, не зная, как подняться еще выше, и не решаясь спуститься вниз.

– Монсеньор, ваше величество или товарищ – называй меня, как хочешь. Но только не мямли. Что можешь ты сказать в свое оправдание?

«В свое оправдание! – подумал Гренгуар. – Плохо дело!» И он проговорил, заикаясь:

– Я тот... который сегодня утром...

– Клянусь когтями дьявола! – прервал его Клопен. – Твое имя, мошенник, и ничего больше! Слушай. Ты стоишь перед лицом трех могущественных государей: меня, Клопена Труйльфу, короля тунского, преемника верховного властелина королевства арго; Матиаса Гунгади Сникали, герцога египетского и цыганского, – вон того желтолицего старика с тряпкой, обвязанной кругом головы, и Гильома Руссо, императора галилейского, того толстяка, который ласкает шлюху и не слушает нас. Мы твои судьи. Ты, чужой, пришел в королевство арго и нарушил этим привилегии нашего города. Ты будешь наказан, если только ты не вор, не нищий и не бродяга. Оправдывайся. Выкладывай свои титулы. Кто ты – вор, нищий или бродяга?

– Увы! – отвечал Гренгуар. – Я не имею чести принадлежать к ним. Я писатель...

– Довольно, – остановил его Труйльфу, не дав ему докончить, – ты будешь повешен. Да, повешен, и это вполне справедливо, господа честные горожане. Как вы обращаетесь с нами, когда мы попадаем в ваши руки, так и мы обращаемся с вами у себя. Закон, который вы придумали для бродяг, бродяги в свою очередь применяют к вам. Вы сами виноваты, если он строг. Надо же когда-нибудь полюбоваться и нам на гримасу честного человека в веревочной петле. От этого сама казнь становится как-то почетней. Ну, приятель, раздай-ка живей свои лохмотья этим барышням. Я повешу тебя для развлечения воров и бродяг, а ты отдашь им кошелек, чтобы им было на что выпить. Если хочешь помолиться перед смертью, у нас есть прекрасная статуя Бога Отца, которую мы украли из церкви Святого Петра на Быках. Даю тебе четыре минуты, чтобы поручить Богу свою душу.

Речь произвела большой эффект.

– Ловко сказано, клянусь душой! – воскликнул царь галилейский, разбив свою кружку об стол. – Клопен Труйльфу читает проповеди не хуже самого святейшего отца Папы!

– Всемиловнейшие императоры и короли! – хладнокровно сказал Гренгуар; к нему совершенно неожиданно вернулось мужество, и он говорил смело. – Вам еще неизвестно, кто я. Я Пьер Гренгуар, поэт, написавший мистерию, которую разыгрывали сегодня утром в большом зале Дворца правосудия.

– А, так вот ты кто! – воскликнул Клопен. – Как же, как же, ведь я тоже был там. Так что же из этого, приятель? Разве потому, что ты надоедал нам утром, тебя нельзя повесить вечером?

«Трудно мне будет выпутаться из беды», – подумал Гренгуар, но все-таки сделал еще одну попытку.

– По-моему, – сказал он, – поэты как раз подходят к вам. Эзоп был бродягой, Гомер – нищим, Меркурий – вором...

– Ты, кажется, вздумал морочить нас своей тарабарщиной, – прервал его Клопен. – Черт возьми! К чему столько церемоний? Неужели ты не можешь дать себя повесить просто?

– Извините, ваше величество, король тунский, – возразил Гренгуар, упорно отстаивая каждый шаг. – Вы увидите сами... Одну минуту... Выслушайте меня... Ведь не осудите же вы меня, не выслушав?..

Между тем шум мало-помалу увеличивался, и слабый голос Гренгуара был едва слышен. Маленький мальчик пилил по котлу еще усерднее, чем прежде, да вдобавок какая-то старуха поставила на таган сковородку с салом, трещавшим на огне так громко, как кричит толпа ребятишек, преследуя маску.

Клопен Труйльфу, посоветовавшись с герцогом цыганским и мертвецки пьяным царем галилейским, резко крикнул своим подданным:

– Молчать!

Но так как котел и сковородка не слушались его, то он соскочил с бочки, одним ударом ноги отбросил котел шагов на десять от ребенка, а другой ногой опрокинул сковородку, все сало с которой пролилось в огонь. Затем он важно взобрался на свой трон и уселся, не обращая внимания на прерывистые всхлипывания мальчика и ворчание старухи, ужин которой улетел вместе с густым дымом.

По знаку Труйльфу герцог цыганский, император галилейский, святоши и высшие члены королевства встали полукругом вокруг Гренгуара, которого продолжали держать трое нищих. Окружавшие поэта люди были в лохмотьях и мишурных украшениях, с дрожащими от пьянства ногами, тусклыми глазами и тупыми, безжизненными лицами. Они держали в руках вилы и топоры. Во главе этого чудовищного «круглого стола» восседал на своем троне Труйльфу, как дож в сенате, как Папа на конклаве, как король среди своих пэров. Он господствовал над всеми, был выше всех, и не потому только, что сидел на бочке. В выражении его лица было что-то свирепое, надменное и грозное, придававшее блеск его глазам и смягчавшее его животный тип. Он казался вепрем среди свиней.

– Слушай, – сказал он Гренгуару, поглаживая уродливый подбородок мозолистой рукой. – Я не вижу ничего такого, что мешало бы мне повесить тебя. Положим, это как будто не нравится тебе, но что же тут мудреного? Вы, горожане, не привыкли к этому и потому воображаете, что это уж невесть что. Но мы вовсе не желаем тебе зла, и, если хочешь, я дам тебе возможность выпутаться из беды. Согласен ты присоединиться к нам?

Нетрудно представить себе, как подействовало это предложение на Гренгуара, потерявшего уже всякую надежду спасти свою жизнь. Он с восторгом ухватился за него.

– Согласен... конечно... с удовольствием, – отвечал он.

– Желаете ты вступить в воровскую шайку?

– В воровскую? Конечно!

– Признаешь ты себя членом вольной буржуазии? – продолжал тунский король.

– Да, я признаю себя членом вольной буржуазии.

– Подданным королевства арго?

– Королевства арго.

– Бродягой?

– Бродягой.

– От всей души?

– От всей души.

– Должен, впрочем, предупредить тебя, – сказал король, – что в конце концов тебя все-таки повесят.

– Господи помилуй! – воскликнул поэт.

– Только немножко позднее, – невозмутимо продолжал Клопен, – с большей церемонией, повесят честные люди, на красивой каменной виселице и на счет славного города Парижа. Это может служить тебе утешением.

– Да... конечно, – согласился Гренгуар.

– Ты будешь пользоваться и другими преимуществами. Как члену вольной буржуазии тебе не придется платить обязательных для всех парижан налогов: в пользу бедных, на очистку города и освещение улиц.

– Хорошо, – сказал поэт, – я согласен. Я бродяга, подданный королевства арго, член воровской шайки, вольной буржуазии и всего чего угодно. И я был всем этим еще раньше, ваше величество, потому что я философ. А как вам известно, *et omnia in philosophia, omnes in philosophio continentur*³⁷.

Тунский король нахмурил брови.

– За кого ты принимаешь меня, приятель? – сказал он. – С какой стати ты начал болтать на языке венгерских жидов? Я не говорю по-еврейски. Чтобы сделаться бандитом, не нужно быть жидом. Теперь я даже не занимаюсь воровством; я выше этого – я убиваю. Я режу головы, но не срезываю кошельков.

Слушая эти короткие фразы, которые, по мере того как королем овладевал гнев, становились все отрывистее, Гренгуар испугался и начал оправдываться.

– Прошу извинения у вашего величества, – сказал он. – Я говорил не по-еврейски, а по-латыни.

– Повторяю тебе, что я не жид! – в ярости воскликнул Клопен. – Я велю тебя повесить, отродье синагоги! Вместе вон с тем коротышкой-жиденком, который стоит рядом с тобой. Впрочем, его, наверное, скоро пригвоздят к прилавку, как фальшивую монету.

Говоря это, он показал пальцем на низенького бородатого еврея, надоедавшего Гренгуару своим *facitote caritatem*³⁸. Не зная никакого другого языка, еврей с удивлением смотрел на тунского короля, не понимая, чем мог вызвать его гнев.

Наконец его величество Клопен несколько успокоился.

– Итак, плут, ты хочешь поступить в воровскую шайку? – спросил он поэта.

– Да, хочу, – отвечал тот.

– Одного желания еще мало, – угрюмо проговорил Клопен. – От него не прибавится ни одной луковицы в супе, оно хорошо только для рая. А рай и арго – вещи разные. Чтобы быть принятым в шайку, ты должен доказать, что годен на что-нибудь, и для этого обыскать чучело.

– Я обыщу кого угодно, – отвечал Гренгуар.

Клопен сделал знак. Несколько человек вышли из круга и через минуту вернулись, неся два столба. Эти столбы заканчивались двумя деревянными подпорками, на которых они держались прочно и крепко, когда их поставили на землю. Верхние концы столбов соединили поперечной перекладиной, так что вышла прехорошенькая переносная виселица. Гренгуар имел удовольствие видеть, как она в одну минуту воздвиглась перед ним. Все было налицо, даже петля, грациозно качавшаяся под перекладиной.

– Что они хотят делать? – с некоторым беспокойством спрашивал себя Гренгуар.

В эту минуту раздался звон колокольчиков, рассеявший его тревогу, и чучело, которому члены вольной буржуазии накинули на шею петлю, закачалось на виселице. Это было настоящее воронье пугало, наряженное в красную одежду и увешанное таким огромным количеством колокольчиков и бубенчиков, что их хватило бы на упряжь для тридцати кастильских мулов. Эти колокольчики звенели, пока качалась веревка, а потом, мало-помалу замирая, совсем

³⁷ Философия и философы всеобъемлющи (*лат.*).

³⁸ Подайте милостыньку (*лат.*).

затихли, когда чучело остановилось неподвижно, подчиняясь закону маятника, вытеснившего водяные и песочные часы.

Тогда Клопен, указывая Гренгуару на старую, расшатанную скамейку, стоявшую под чучелом, сказал:

– Влезай!

– Черт возьми, да ведь я сломаю себе шею! – возразил Гренгуар. – Ваша скамейка хромает, как двустишие Марциала. Одна нога у нее гекзаметр, а другая пентаметр.

– Влезай! – повторил Клопен.

Делать нечего, Гренгуар влез на скамейку и, взмахнув несколько раз руками и головой, нашел наконец равновесие.

– Теперь, – продолжал тунский король, – подними правую ногу, обхвати ее левое колено и встань на кончики пальцев левой ноги.

– Так вы непременно хотите, чтобы я сломал себе что-нибудь, ваше величество? – воскликнул Гренгуар.

Клопен покачал головой.

– Ты слишком много болтаешь, приятель, – сказал он. – Вот в двух словах, что от тебя требуется: ты встанешь на цыпочки, как я сказал. Тогда ты сможешь достать карман у чучела. Ты обыщешь его и вынешь оттуда кошелек, который там лежит. Если ты сделаешь это так, что не зазвенит ни один колокольчик, – отлично, ты будешь членом нашей шайки, и все ограничится только тем, что мы в продолжение восьми дней будем нещадно колотить тебя.



Нотр-Дам-де-Пари. Фотограф – Чарльз Марвилль
*«Будьте человеком прежде всего и больше всего. Не бойтесь слишком тяготить себя
гуманностью»*
(Виктор Гюго)

- Господи помилуй! – воскликнул Гренгуар. – А если колокольчики зазвонят?
- Тогда тебя повесят. Понимаешь?
- Нет, совсем не понимаю, – отвечал Гренгуар.

– Так слушай еще раз. Ты обыщешь это пугало и вытащишь у него из кармана кошелек. Если в это время зазвонит хоть один колокольчик, тебя повесят, понимаешь?

– Хорошо, понимаю, – сказал Гренгуар, – а дальше?

– Если тебе удастся вытащить кошелек так, что не зазвонит ни один колокольчик, ты будешь принят в шайку и мы станем тузить тебя в продолжение восьми дней подряд. Теперь ты, надеюсь, понял?

– Нет, ваше величество, я опять-таки ничего не понял. Что же я выиграю? В одном случае меня повесят, в другом будут колотить!

– Но ведь зато ты будешь бродягой! Разве ты не ставишь это ни во что? А бить тебя мы будем для твоей же пользы, чтобы приучить твое тело к ударам.

– Благодарю покорно, – отвечал поэт.

– Ну, живей! – воскликнул король, ударив ногой по бочке, которая загудела, как огромный барабан. – Обыскивай чучело, и покончим с этим. Предупреждаю тебя в последний раз, что ты сам займешь место чучела, если звякнет хоть один колокольчик.

Вся шайка разразилась рукоплесканиями при этих словах Клопена и с громким смехом окружила виселицу; этот безжалостный смех показал Гренгуару, что его отчаянное положение является для них забавой и что ему нечего ждать пощады. Итак, все было против него, – оставалась лишь одна слабая надежда, что, может быть, ему удастся выполнить трудную задачу. Он решил рискнуть, но сначала обратился мысленно с горячей мольбой к чучелу, которое собирался обокрасть; легче было смягчить его, чем окружавших виселицу людей. А когда Гренгуар взглядывал на все эти колокольчики с медными языками, ему казалось, что это – мириады змей, открывших свои пасти и собирающихся зашипеть и ужалить его.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.